



*Оксана Васильева*

# **Песнь кулика о счастье**

**Оксана Васильева**

# **Песнь кулика о счастье**

**Рассказы**



**Оренбург  
2017**

Эта книга издана при поддержке  
Министерства культуры  
Российской Федерации  
и Союза российских писателей



Оренбургским региональным отделением  
Союза российских писателей

УДК 8Р2 (092)  
ББК 83 (2Рос=Рус) 6-8  
**В 19**

**ISBN 978-5-6040426-3-2**

**Оксана Васильева. Песнь кулика о счастье.** Рассказы. – Оренбург: Издательский центр МВГ, 2017. – 120 с.

© Оксана Васильева, рассказы, 2017 г.  
© Издательский центр МВГ, 2017 г.

\* \* \*

*Совсем непросто живёт литератор. Мечтает себе о море – а там медузы. Строит замок любви – а он тонет в болоте. Начитается сказок – и фантазирует, дитя муз. Расщеплённая натура, модератор событий – что он может-то, кроме как написать?.. Но в этой слабости и старинное могущество.*

*Оксане Васильевой повезло, и не раз. Жить в некоторой изоляции от мощных политических потрясений – это привилегия. Старые писатели из последних сил старались выстроить себе сад-огород со своими растениями и животными. Кто в глубине Сибири организует свой заповедник, кто на Урале, ну хоть в Переделкине под Москвой – в наши токсичные времена это стало катализатором сильнее, чем бывало прежде.*

*Центростремительный литературный мир давно показал себя как место, опасное для обитания души тонкой. Оксана Васильева вдали от Москвы, Питера и даже Екатеринбурга начала строить мир своих рассказов, да и построила, сразу же. Видимо, свежие силы и чистый относительно воздух провинции сработали.*

*Начать с книжки рассказов – это почётно. Совершенно не чеховские времена на дворе. Недлинной строке, графически чётко написанному портрету нет той цены, какая была в старомодной литературе. Во всём мире рассказ давно терпит упадок и фиаско.*

*А все ж чудаки есть. И чудачки.*

*Я познакомилась с Оксаной несколько лет назад. Она пишет упорно и бодро, пора выйти и книжке. Это упрямство – часть работы литератора. Не только фантазия и поиск своего собственного языка. Хотя это первейшие инструменты. Ими тот, кто пишет, обучается работать всю жизнь при некотором везении. Кажется, Оксане везёт, как я уже заметила. Будем читателями её первой книжки.*

**Вероника Долина  
Москва  
Декабрь 2017**

## Никчёма

Я всегда раньше приезжаю, чтобы не пропустить. Мало ли как бывает: приболела, или начальство куда отправило. Я ведь, если её не увижу, неделю не протяну. По осени как-то праздник на понедельник выпал, так я с тоски чуть не загнулся. Еле дождался. В трамвае еду, а у самого всё внутри дрожит. Пальцы как деревянные. Думал, играть не смогу.

За это и праздники любить перестал, что её не вижу. Мне понедельники как воздух:дохнул – и дальше живу.

– Витюша приехал! Как жизнь, Витюша? – бабульки здороваются. Они тут на остановке семечками торгуют. Жалуются, что торговля не идёт, а каждый день с коробками выходят. Скучно им дома.

– Нормалёк жизнь! Всё пучком! – говорю. Они смеются. Всегда так говорю, а они смеются.

– Давай, Витюша! Повесели нас!

Я аккордеон достаю, футляр у ног раскладываю, на стульчик матерчатый сажусь и наигрываю что-нибудь весёлое. Или частушки пою, когда настроение:

*Причесались, приоделись*

*Бабушки-соседушки.*

*Коли парни загляделись,*

*То куда уж дедушкам!*

Бабульки заливаются.

Играю, а сам на угол дома поглядываю. Она оттуда обычно к остановке выходит. Контора у них во дворе.

До пяти ещё держусь, а в пять меня уже колотить начинает. Аж скулы сводит, и в животе пусто становится. Тут я закуриваю, как будто случайно, чтоб на середине песни не прерываться. И жду.

Людей на остановке прибавляется. Вот сейчас, сейчас!

Она из-за угла появляется, почти бежит. Худенькая, бледненькая, уставшая, круги вон под глазами. И глаза такие большие, и тоска в них. Валечка моя! Сердце у меня вниз – у-у-ух! И тут я «Амурские волны» начинаю. А она на остановке стоит, трамвая ждет, глаза прикроет и улыбается. Так и уезжает, улыбаясь, а я вслед трамваю доигрываю.

\* \* \*

Мамака меня никчёмой звала. Как я чашку разобью или штаны порву, она не ругается, а вздыхает только:

– Никчёма ты! И отец твой такой же был!

А я и правда никчёма: маленький, неказистый с виду, к учебе неспособный. Учителя жалели, «тройки» рисовали, за то что тихий и невредный. А я и рад. Домой приду, портфель в угол кину – и за аккордеон. Ремни надену, обниму его и сижусь, с ним разговариваю, как с живым.

Аккордеон мне дядя Вася, сосед по бараку, оставил, когда в Сибирь уезжал. Мамака возражать начала:

– Вещь-то дорогая, Вась. Может, продашь кому?

А дядя Вася говорит:

– Мы, Вера, много лет соседями хорошими были. Вот хочу Витьку твоему подарок сделать.

Мамака улыбается только и головой качает.

Мне тогда лет восемь было. Я сначала присматривался к инструменту. Крышку футляра открою, клавиши поглажу, а в руки брать боюсь. Месяца два вокруг ходил. А потом вынул всё-таки. Тяжёлый он. Я на кровать с ним сел, растянул и клавишу нажал. Звук появился чистый, мягкий. Я ещё растянул и нажал. Так и пошло.

Каникулы как раз были. Мамака на работу, а я сижусь часами, звуки слушаю.

Мамака увидела, в школу музыкальную меня повела. Они там говорят мне: ноты учи. А я как погляжу на эти кружочки с хвостиками, такая тоска берет. Приду к музыкалке, как будто на

занятия, постою под окнами открытыми, послушаю музыку всякую и ухожу.

Анна Сергеевна, учительница моя по специальности, даже к нам домой приходила, уговаривала мамаку, чтобы я не бросал. Только я сам не захотел: гаммы, этюды – неживые они какие-то.

Показали мне там, как за инструмент браться: с рук-то я быстро схватываю. Вот и начал я по слуху всякие песенки подбирать. Мамака с работы придёт уставшая, а я ей новую песню играю. Сядет она за стол, руками голову подопрёт и смотрит на меня.

А как заиграл немного, начал я во двор с аккордеоном выходить. Летом по вечерам соберутся вокруг меня соседи на лавочке (мы с мамакой к тому времени уж из барачков переехали) и поют: «Над окошком месяц, за окошком ветер...».

А на небе месяц молодой висит, слухает.

\* \* \*

Я в коблuxe уже третий год учился, когда к нам Толич пришёл. Он при ДК ансамбль народной музыки организовал.

– Хочу, – говорит, – восстановить ту народную культуру, которая была в начале двадцатого века и сейчас потихоньку забывается. Чем простые люди тогда жили, какие песни пели, на каких инструментах играли, во что одевались, как танцевали. Скоро ведь совсем про это забудут.

В общем, много он тогда говорил, я всего не помню. Только мне интересно стало. Схожу, думаю, гляну, что да как.

Ансамбль назывался «Росичи». Толичу в ДК большую комнату на втором этаже дали. На стене костюмы висели народные. Не такие, как на танцах, с блестками, а почти как настоящие, с ручной вышивкой. И везде инструменты лежали разные: ложки, трещотки, балалайки, свистульки, даже бочка со струнами. Толич их по деревьям насобирает и отремонтировал.

В общем, понравилось мне.

Толич хотел, чтобы ансамбль семью напоминал. Были у нас там два деда – Иван Василич и Иван Петрович. Василич – высо-



кий, с длинной, до груди, седой бородой – был балалаечник. А Петрович – ростом чуть пониже, и борода небольшая, серая – гармонист. Петрович с женой приходил, бабой Катей, она частушки пела. Лицо у неё было всё в морщинах, а голос высокий и звонкий.

Ещё приходили верующие Савины, муж с женой. Тогда мода как раз пошла – все креститься кинулись. А они по-настоящему верующие были: в церковь ходили, все обряды соблюдали. И говорили как-то по-особому – смиренно. Как будто ими всё уже понято в жизни и всё принято.

Савины приводили с собой детей – двойняшек Ваню и Маню. Дети как дети, подвижные и смешливые. Маня пела тоненько и чисто. А Ваня ложками, трещотками и другими гремящими предметами заведовал.

Ещё Толичу молодёжь нужна была: он и пошёл по соседним школам и училищам. На первом занятии нас человек пять набегало. А потом осталось двое: Сашка Бортников и я.

Про Сашку надо отдельно сказать. Сашка красавец был. По-настоящему. Таким людям без толку завидовать, ими любоваться нужно. Мы все и любовались. Встанет он посреди сцены, высокий, плечистый, кудри тёмные со лба уберёт, обведёт всех весёлым взглядом и пойдёт вприсядку. И голос у Сашки был хороший: негромкий, низковатый, но мягкий.

Подружился я со всеми. У меня, кроме мамаки, не было никого, а тут как будто семья появилась. А они меня чуть ли не с первого дня стали Витюшей называть. После занятия мы обычно не сразу расходились, а сидели ещё за чаем, Толича слушали и пирожки с капустой жевали, баба Катя их делала.

Толич много интересного рассказывал про начало века: про деревенских, про городских, про купцов, про монастыри. Так выходило у него, будто сам он тогда жил и всё своими глазами видел.

Я, конечно, аккордеон свой притащил. Но Толич сказал, что аккордеонов тогда в России не было, так что он мне гармонь даст. Ну гармонь так гармонь.

Стал я в ДК к Толичу чуть ли не каждый день бегать. Когда занятий не было, Толич мне что-нибудь на гармошке или на

аккордеоне показывал. Да я и на других инструментах немного играть научился.

И вот, в октябре уже, сидим мы как-то с Толичем в комнате у нас, гармошку одну налаживаем. Толичу знакомые дедово наследство отдали. Очень любил я вечера, когда мы с Толичем вдвоём оставались и с инструментами возились. И тут – стук в дверь такой тихонький. Я, помню, ещё насупился, что пришел кто-то.

Толич кричит:

– Входите!

И входит она, Валечка моя! Я голову от стола поднял и замер. Стоит она на пороге, тоненькая, светленькая, глаза серые и испуганные.

Бывает так: видишь человека в первый раз, а как будто всё уже про него знаешь. Вот и у меня так с Валечкой случилось. Смотрю я на неё и понимаю, что пропал, и ещё в груди так больно вдруг сделалось за неё, потому что будет она не очень счастливой. Не знаю, откуда это взялось.

Толич навстречу поднялся:

– Проходите, барышня!

Подходит она к столу, а я, как дурак, тарашусь на неё и чувствую, как рожа в улыбке разъезжается. Смотрю, и Толич заулыбался.

А она говорит:

– Вы в ансамбль ещё записываете? Вы у нас в школе в сентябре были. Только я сразу не смогла прийти, заболела. А сейчас ещё не поздно?

Толич говорит:

– К нам никогда не поздно. Как вас зовут, барышня?

– Валя Прохорова.

– А петь вы умеете, Валя Прохорова?

– Умею, я музыкальную школу в прошлом году окончила.

– Ну приходите к нам завтра, Валечка, в шесть часов вечера на репетицию.

Она уж минуты две как ушла, а я всё сижу и двинуться не могу.

Толич погладил бородку и говорит:

– Витюш, а картинка-то, похоже, сложилась. Чувствовал я, что не хватает нам образа. Какая девушка, а? А коса какая? Чудо, просто чудо!

Как я этой репетиции ждал, как боялся, что она не придёт, что я больше её не увижу! Увидел. А она Сашку увидела.

\* \* \*

Толич программу делать решил – «На городской окраине». Как будто собираются где-то на краю города под вечер разные люди: рабочие, крестьяне, в город переехавшие, студенты, солдаты. Разговаривают, песни поют, танцы устраивают.

На сцене мы по очереди появлялись. Сначала наши старики выходили, усаживались на лавочках и начинали наигрывать. Потом семейные подтягивались, дети на сцену выбегали. Потом я со своей гармошкой являлся и вроде как спор с Петровичем устраивал – кто кого переигрывает.

Валечка девушкой-гимназисткой была – будто она случайно мимо шла, остановилась да заслушалась. Мы с Петровичем «Амурские волны» затевали. А Сашка, одетый в казачью форму, Валечку на танец приглашал.

Кружатся они по сцене, Сашка ей что-то нашёптывает, а она глаза на него вскинет, и такое счастье в них. Ведёт её потом Сашка под локоток к лавочке, а она улыбается и не видит вокруг ничего. И так каждый раз. А у меня сердце рвётся от нежности, я на гармошке жарю, а сам всё смотрю на них, смотрю...

Однажды, по весне уже, дождик был, и все как-то подзадержались. Даже Толич ещё не пришёл. Стою я у нашей комнаты. Коридор там тёмный, а свет только в дверном проёме от лестницы. И вдруг Валечка появляется и прямо ко мне в темноту шагает. Я ей навстречу шагнул и говорю:

– Привет!

– Привет, Витюша! Нет ещё никого?

– Нет.

А она говорит:

– Я так замёрзла, пока шла. Руки совсем заоченели.

А я говорю:

– Давай погрею.

И беру её руки в свои. В жизни бы не решился, если б светло было. Пальчики у неё тоненькие, мягкие. Я наклонился и дышу на них, а они яблоками пахнут. У меня даже голова закружилась.

Тут в дверях Савины появились. Мы руки опустили, а Валечка говорит:

– Спасибо тебе, Витюша, ты меня просто спас.

А я бормочу что-то в ответ и к стенке прислоняюсь, чтобы не грохнуться.

А через полгода Толич уехал. Что-то он с начальством не поделил, а тут ему работу в областном центре предложили. Отнесли мы инструменты в городской музей, посидели последний раз в нашей комнате все вместе за чаем. Невесёлый чай получился. А Сашка ещё возьми да скажи, что тоже скоро уезжает: дядька у него в Самаре фирму свою открыл. Валечка и так сидела несчастная, а тут и вовсе расплакалась. Отвернётся от стола, слёзы вытирает, а они всё равно бегут.

Сашка её потом до дома проводил, обнял на прощанье, а она к нему прижалась – и снова плакать. Сашка её уговаривает, по голове гладит. Ласковый он, Сашка.

А я за углом дома прячусь и тоже чуть не плачу. Так мне жалко всех: и Валечку, и Сашку, и Толича, и себя.

Я уж и работать начал, а всё по Валечке тосковал. Подойду к её подъезду, постою. Пол-лета ходил – думал, увижу. А потом не выдержал и позвонил однажды. А мама её мне говорит:

– А Валечка теперь учится в Челябинске, в институте.

Так всё и закончилось.

\* \* \*

Мамака моя перед смертью долго болела. В последние дни совсем замучилась, кричала от боли. Я ей на аккордеоне играл. Она слушать начнёт и затихает ненадолго. А то смотрит на меня и вздыхает. Очень уж она переживала, что один я останусь: ни жены, ни детей, ни родни.

Проводил я соседей после поминок, дверь закрыл за ними, собрал посуду со стола, на кухню иду и зову мамаку:

– Мамака, я посуду несу!

А на кухне тихо. Нету мамаки моей, нету!

Я посуду выронил, упал на колени и закричал...

Пусто внутри стало.

Приду с работы, сяду и сижу часами, в одну точку смотрю. Нет у меня никого. Никому я не нужен. Ничего не хочу. Даже аккордеон в руки брать перестал. Совсем уж доходил. Соседка наша, тётя Зоя, остановила меня однажды в подъезде и говорит:

– Ну что ж ты так мучаешься, Витюш? Смотри, похудел как, совсем на человека не похож! Ну напейся уж, что ли, может, отпустит!

Легко сказать напейся! Мамака пьяных не любила очень. Даже если я пива с мужиками после работы перехвачу, она запах учует и морщится. А тут – напейся! Ну взял я литрушку, за стол на кухне сел, смотрю на неё. А за бутылкой на стене Микки-Маус висит. Это я мамачке в шестом классе открытку на Восьмое марта рисовал, а мамака её на стену на кухне повесила, прямо над столом. И вот этот Микки-Маус через бутылку смотрит на меня, и взгляд у него такой весёлый: мол, ну чего ты сидишь-то? Наливай...

Мышь, а хорошим парнем оказался, понятливым. Я ему в тот вечер всю жизнь свою рассказал, как есть: и про мамаку, и про Толича, и про Валечку. А потом аккордеон достал, и мы петь начали: я затягиваю, а он потихоньку к середине куплета подстраивается.

Так по вечерам и пели. Прихожу я с работы, а он уже ждёт, носом вертит, принимаивается. Ну я, конечно, делаю вид, что некогда мне тут с ним рассиживаться, по дому суечусь, а он, хитрый, только улыбается: я, мол, подожду, подожду, не торопись!

...А потом меня с работы уволили. Тогда мы уж целыми днями петь стали...

Как-то тётя Зоя пришла, запричитала с порога:

– Ох, Витюша, Витюша, что ж ты делаешь? Насоветовала я тебе на свою голову... Я ж Вере-то, покойнице, обещала присма-

тривать за тобой. А как тут присмотришь, если ты то приходишь на глазах, то пьёшь неделями, прости Господи! Работу тебе искать надо, жениться. Жена тебя держать будет, пить не даст. А так-то пропадёшь совсем!

Тут тетя Зоя повздохала и говорит:

– Давай я тебя на рынок устрою, у меня там Ирка, племянница, обувью торгует. Грузчиков у них не хватает. Работать начнёшь, а там, может, и приглядишь себе кого-нибудь: девки у них ядрёные, одна Ирка моя чего стоит! Давай, Витюша, давай, пора уже за ум браться!

Так я на Городской рынок попал.

\* \* \*

Шумно на рынке, все кричат, ругаются.

Работы у меня немного: в начале дня товар со склада привезти на тележке, в конце дня увезти. Сумки у девчат большие, тяжёлые. Вот, чтобы им лишний раз не надрывать, я и нужен. А пока торговля идёт, мне вроде как и заняться нечем. Ну я и начал с аккордеоном ходить. Помогу девчатам с товаром, а потом сяду и наигрываю целыми днями. Хорошо мне с аккордеоном. Девчата послушали-послушали и говорят:

– А чего ты, Витюша, просто так играешь? Тебе деньги лишние?

Стал я футляр от аккордеона у ног раскладывать – денёжки посыпались! Мелочь, конечно, но мне-то одному много ли надо?

А с Маришей как вышло... Вообще-то девчата ко мне хорошо относились. Всё время шутили, что на свидание меня не зовут, потому что между собой поделить не могут. Ну и я с ними обычно постою, поговорю минуточку-другую. Только Мариша со мной никогда не смеялась. Сверкнёт глазами и прикрикнет:

– Ну чё встал-то? Двигай уже!

Я не обижался: ну не любит она меня, ну и ладно! За что ей меня любить-то? Девчата говорили, что беженка она: мужа убили, дом сгорел. Мыкается с двумя детьми маленькими.

Припозднились мы с ней однажды, позже всех товар на склад повезли. Мариша меня в спину толкает:

– Ну давай, давай уже! Еле ползёшь!

А я и говорю ей:

– Ну что ж ты всё время кричишь?

А Мариша вдруг как вскинется:

– Да ты знаешь, что у меня дети дома одни? Ты знаешь, что такое жить в нашей общаге? Там нарики сплошные! А у меня сын растёт! Да я дочку не могу в туалет одну отпустить, потому что утащат и изнасилуют! Что ты вообще понимаешь? Ты знаешь, что такое жить одной в чужом городе? Что такое двоих детей кормить и одевать, когда работы нет? Ты же ничего вокруг себя не видишь, кроме гармошки своей дебильной! Ты ж больной на всю голову! Урод!

Кричит, а у самой слёзы льются. Толкнула меня от тележки, ухватилась за ручку и потащила к складу. А я ей в спину говорю:

– Переезжайте ко мне, у меня комната свободная!

Мариша остановилась, поворачивается ко мне и говорит уже без злобы:

– Не, ну ты точно больной!

Перевёз я их к себе, комнату им большую отдал, а сам в мамакиной поселился. Мариша порядок навела: вымыла всё, вычистила, перестирала. Стали жить потихоньку. Старший сын Мариши Гарик как-то всё сторонился меня, всё молчком да молчком. А с Юляшкой мы подружились.

В первый же вечер она ко мне в комнату зашла в пижаме, такой жёлтенькой, с бегемотами, и говорит:

– Можно мне твою гармошку посмотреть?

– Можно, – говорю, – только это не гармошка, а аккордеон.

– А, гармошка-аккордеошка! И как ты на ней играешь?

Тут Мариша её зовёт:

– Юлька, быстро спать!

Юляшка к двери пошла, а потом обернулась и говорит:

– Я завтра ещё приду, и ты мне покажешь, как на этой гармошке-аккордеошке играть можно.

– Конечно покажу, – говорю, – приходи!

Понравилось Юляшке с аккордеоном играть, с той стороны, где клавиши. Показал я ей пару мелодий. Растягиваю аккордеон, на кнопки жму, а Юляшка под боком по клавишам бьёт, и получается у нас музыка. Юляшка смеётся, и я вместе с ней. По вечерам Мариша с Гариком телевизор смотрят, а мы с Юляшкой музыку играем.

\* \* \*

Месяца два-три уже они у меня прожили, когда Юляшка заболела. Ангиной. Температура у неё была страшная: сорок – за сорок. Мы даже «скорую» вызывали. Пять дней температура держалась. Гарик в моей комнате спал, а мы с Маришей у Юляшки дежурили, боялись, что задохнётся ночью. Мариша, конечно, дома сидела, а я на работу уходил. Только работа в тягость была: я всё время домой рвался. А тут по дороге увидел в киоске двух собачек резиновых. Маленькие такие фигурки, как раз в ладонь умещаются. Одна, поменьше, – пушистая собачка, на Юляшку похожа, когда Мариша ей на голове хвостики делает по бокам. А вторая, чуть больше, – пёс-барбос. Купил я их, домой принёс и Юляшке говорю:

– Теперь у нас с тобой собаки будут. Твоя собака будет с тобой дома сидеть, тебя охранять. А моя – со мной на работу ходить. А вечером будут они встречаться и новости друг другу рассказывать. А если ты будешь плакать без меня, твоя собака моей всё про тебя расскажет. И ещё – как ты кушаешь и лекарства пьёшь. Я теперь всё про тебя буду знать.

Юляшка руку из-под одеяла высунула, взяла собачку мохнатую, а от руки так жаром и пышет. Утянула игрушку к себе и говорит:

– Хорошо. Я её Лушей назову. А твою как зовут?

Я барбоса на ладонь поставил и смотрю внимательно:

– На кого же пёс похож? Мне кажется, его зовут Кекс. Как думаешь?

– Кекс? Смешно.



Кекс у меня в кармане куртки поселился. Я его всё время с собой таскал. А вечером вынимал и к Юляшке заходил. Мой Кекс с её Лушей носами тёрлись, а потом друг другу рассказывали, как день прошёл.

Кекс отважным псом был: он выпавших из гнезда птенцов от кошек защищал, бабушкам пропавшие кошельки отыскивал и жуликов ловить помогал. Очень Юляшке такие истории нравились. Иду с работы, придумываю Кексу приключения разные, а сам радуюсь – меня дома ждут. И так мне от этого тепло.

Долго Юляшка выздоравливала, недели три. А потом всё пошло по-старому. Только все мы как будто роднее стали. Даже Гарик мне заулыбался. А как-то ночью Мариша ко мне в комнату пришла.

Так я семейным человеком стал. Мы с Маришей много про это не разговаривали. А чего говорить, люди мы взрослые, всё и так понятно, без слов.

Мариша совсем на Валечку не похожа была: тёмноволосая, крепко сбитая и неласковая. Может, от природы так, а может, жизнь приучила. Только я всё равно был благодарен ей за семью, особенно за Юляшку.

Мы с Маришей в моей комнате обустроились. А Гарику в большую комнату тахту купили и ещё стол письменный, чтоб уроки делать.

\* \* \*

Однажды на рынке ко мне женщина пожилая подошла:

– Вы меня извините, вас ведь Виктор зовут, да? Я в продуктовых рядах работаю и каждый день слушаю, как вы играете. Понимаете, моему мужу исполняется шестьдесят лет, к нам приедут родственники из деревни, они все очень петь любят. И муж мой тоже. Вы знаете, у него такой голос хороший... Вот если бы вы пришли к нам с инструментом да поиграли бы... Не бесплатно, конечно...

Ну, я согласился. Деньги-то ведь никогда не лишние, а мне теперь семью кормить. Женщина эта, Нина Васильевна, и запла-

тила хорошо, и всем знакомым меня насоветовала. Стали меня на праздники приглашать: на дни рождения, на свадьбы, где люди пожилые бывают. Молодёжь танцует, а старики со мной песни поют.

Мариша мне костюм купила и рубашку новую. Говорит:

– Ты к людям ходишь, выглядеть должен прилично!

Раз меня на свадьбу позвали. Я, конечно, костюм надел, Мариша мне галстук повязала. Посмотрел на себя в зеркало: ну не красавец, но вроде даже как-то солидно выгляжу. Жалко, ма-мака меня не видит.

Меня на праздниках угощают всегда. Но я стараюсь побы-стрей поесть – и за аккордеон. А уж пить-то совсем не пью.

Только на этой свадьбе всё по-другому пошло. Молодёжи много, музыку включили, смотрю, и старики плясать пошли. А я вроде как и не нужен. Я уж уходить собрался тихонечко. А тут ко мне дядя невесты подсаживается, здоровый такой мужик. Кла-дёт мне на плечо лапищу волосатую и говорит:

– Братан, давай выпьем! Я – Коля!

– А я – Витя, – говорю, – только я не пью!

– И я не пью! Но сегодня такой день! Племяшка моя за-муж выходит! Лёлька моя! Я ж её из роддома с сеструхой за-бирал вместо Петьки этого, козлины! Она у меня на глазах росла. Ты посмотри, какая красавица девка-то! Она ж мне как дочь! Давай, Витёк, выпьем, чтоб у неё всё было хорошо! Да брось ты гармошку свою, всё равно все танцуют! Давай за Лёльку!

Домой меня потом довели, только я дорогу плохо помню. Помню, фонари у меня перед глазами как-то закручивались. А я всё футляр с аккордеоном к себе тянул, боялся, что уроню. А перед подъездом меня и вовсе стошнило.

Заполз в квартиру, у порога сел, а двинуться дальше не могу. Мариша ботинки с меня сняла, пиджак запачканный, взяла под мышки и в комнату потащила. Я ногами пытаюсь оттолкнуться, помочь ей, а не получается. Она меня на кровать повалила, опу-стилась рядом, лицо руками закрыла и завыла, тихонечко так. А потом раскачиваться начала:

– Не могу больше! Не могу... Не могу! Господи, как же жить-то?! Я думала, смогу, чтобы дети... А я не могу! Уезжать надо... Господи, что же делать?.. Что делать?..

Так я и уснул под её стоны.

Проснулся на следующее утро – голова болит, внутри всё наизнанку выворачивается, а в ушах Маришины слова стоят, и от них хуже всего. Хотел поговорить с Маришей начистоту, а потом испугался. Вдруг и вправду она уедет и детей с собой забереёт. Как же я жить-то тогда буду? Не могу я один.

Приплёлся на кухню и говорю Марише:

– Прости меня дурака!

– Ты хоть помнишь, как до дому вчера добрался, а? Костюм испоганил! Как я тебя на кровать затаскивала, помнишь?

– Ничего не помню, – говорю. – Ты уж не ругайся, Мариша! Мне и самому противно! Прости меня!

– Ладно, – говорит, – садись завтракать!

Только всё равно душа у меня не на месте была. Я же понимаю, насильно мил не будешь, хоть и некуда им идти! Пошёл в домоуправление и прописал их у себя. Документы Марише отдал, а она заплакала.

Стали дальше жить. Мариша вроде успокоилась, повеселе- ла. Только всё равно тяжело ей со мной, я же вижу. И мне тягостно. Начал я из дому уходить чаще. То на остановках по вечерам играю, а то просто по городу брожу. Иногда, в хорошую погоду, Юляшку с собой прихватывал. А так всё больше один ходил. Всё придумывал, как бы мне с Маришей поговорить, чтоб не обидеть её. Да ничего на ум не пришло.

Осень как раз холодная вышла, с дождями. Как-то в субботу вечером, в конце сентября, брожу я по городу, три часа уже как брожу, замёрз совсем, устал. И домой не хочу. Муторно на душе. И зачем я такой на свет уродился, никчёмный, никому не нужный? И зачем мне жить? Только мешаю всем. Да и помру если, никто переживать сильно не будет. Ну, может, Юляшка поскучает.

Так вот раздумываю, иду, по сторонам не гляжу. И вдруг из-за угла женщина вывёртывает и плечом меня задевает. Я го-

лову поднял и обмер: Валечка! Даже сказать ничего не успел, а она мне:

– Ох, извините пожалуйста!

И дальше побежала.

Я за ней! До подъезда её шёл, а потом ещё по двору с час кружил, всё успокоиться не мог. У меня как будто солнышко на душе проглянуло и согрело всего! Тринадцать лет прошло! Как же я по ней скучал!

Всё про неё вызнал: и в какой квартире живёт, и где работает. И что муж у неё старше её намного и начальник большой. И что сыну пять лет, Данилкой зовут. Видел я, как в машину они садились. Муж у неё солидный такой, красивый, что-то ей выговаривает. А она сына к себе прижала, голову опустила и слушает. А потом глаза подняла, а в них такая печаль!

\* \* \*

По понедельникам рынок не работает, так что у меня выходной. Я уже с утра собираться начинаю и всегда раньше на остановку приезжаю, чтобы не пропустить.

Она меня узнала конечно. Я видел, узнала и даже подойти хотела, а потом остановилась. Ну и правильно. Что она мне скажет? И что я ей скажу?

Каждый понедельник я «Амурские волны» только для неё играю. И она это знает и улыбается. Так и уезжает, улыбаясь, а я вслед трамваю доигрываю.

А дома меня дочка Юляшка ждёт.

А что ещё для счастья нужно?

# Ночь, утро, вечер

– Почему же ты не спас меня, Господи?

– А кто посылал тебе корабль, лодку и бревно?

*Из анекдота*

\* \* \*

Чудный вечер. Снежок.

Может, прогуляться, а?

Нет, сразу ноги замёрзнут, снег на лицо налипнет. А из окна всё смотрится так мило и, главное, безопасно.

Ну умеешь, умеешь, что тут говорить! Ты ведь делаешь это походя, даже не замечая: тут снегом сыпанул, там фонарь зажжёт! И вот он, дамы и господа, – чудный вечер!

Знаешь, в такой вечер славно было бы умереть. А что? Вот так лечь, не зажигая света, слушать тиканье часов, потом закрыть глаза и умереть, ни о чём не сожалея, ничего не страшась, с лёгкой душой.

Скажи, зачем я тебе? Почему ты не отпускаешь меня? У меня ведь ничего нет, кроме снов и разговоров с тобой. Не думаю, что тебе нужен собеседник. Ты даже не слушаешь: мало ли кто бубнит под ухом! Мама так всегда радио включала – негромко, не пытаясь вслушиваться, просто чтобы чувствовать, что ещё жива. Но тебе-то это зачем? Может, ты просто ко мне привык? Уж я-то точно к тебе привыкла за столько лет.

Когда мы начали разговаривать? В мои тринадцать? Ты помнишь? Я тогда впервые посмотрела на себя в зеркало как бы со стороны: огромная нелепая девица с унылой физиономией и прыщами на лбу. И кто, по-твоему, должен был отвечать за это безобразие?

А тебя вообще не было! В школе говорили. Скажи, атеисты – это ведь твоя шутка, да?

Я придумала тебя себе. Вот только не надо банальностей: никакой бороды и облаков не было!

Забавно, да? Ты создал нас, как говорят, по образу и подобию своему, а мы потом подогнали тебя под наши стандарты. Ну и как, не жмёт?

А вообще мне всегда нравилось разговаривать с тобой. Знаешь, ты никогда не перебиваешь, даже если я несу полную чушь, и ещё с тобой не надо притворяться. Ты и так всё обо мне знаешь: ты видишь, как я ем, сплю, чешусь, не говоря уже о...

Да, так вот, о моих тринадцати – помнишь, я задала тогда тебе тот же вопрос: зачем? Зачем нужно было придумывать генетическую программу, давать жизнь стольким поколениям моих предков, свести в конце войны в госпитале какого-то захолустья родителей, чтобы потом получить вот это, в зеркале?

И зачем тебе моя жизнь сейчас? Ради какого эксперимента ты заставляешь дышать и двигаться бесполезное тело и трепыхаться ничем не примечательную душу? Ну да, когда была жива мама, в этом был определённый смысл. А теперь?

\* \* \*

Томочка ушла два часа назад, а я никак не могу уснуть. Вот уж с чем никогда проблем не было, так это со сном. Спала всегда, как сурок, и не просыпалась бы. А тут... Спать не могу, гулять не хочу... Какое разнообразие выбора-то!

...Письмо на столе. Перечитала уже три раза. Это что? Очередная твоя шутка?

И как всё мгновенно вернулось! Да-да, это сердечное ёканье. А я уж было подвела черту, как говорится, подбила бабки. Бабка подбила бабки, хм! Так нет, тебе вдруг просто необходимо стало напомнить мне, что я ещё могу что-то чувствовать!

Почерк у него всегда был отвратительный! Сколько я ни билась!

А я знала, что письмо от него. Ещё не видя почерка, сразу знала! Как только Томочка сказала, что мне на интернат пришло письмо.

А она, наивная душа, ещё вертела конвертом перед моим носом:

– Угадай, от кого?

Да чего гадать-то?

Выхватить письмо, сунуть в руки пальто, шапку и сапоги, выставить Томочку из квартиры – и все дела!

Но тут я представила, как она растерянно стоит в коридоре, смотрит на дверь и хлопает белёсыми ресницами. А её чёрный поношенный сапог шмякается возле моего дверного коврика. Да уж!

– Понятия не имею, кто мог мне написать, – сказала я самым равнодушным тоном.

– Ну-у, с тобой совсем неинтересно! Это же от Бека, ну от Кадырбека твоего, помнишь? Ну что ты стоишь? Давай читай скорее!

А знаешь, нам с Томочкой повезло. Ну, в смысле, нам – это тебе и мне.

Смотри, она и ко мне привязана по каким-то неведомым причинам уже много лет, и к тебе без претензий. А ведь могла бы.

Мужа похоронила, двух спиногрызов на себе вытянула, выучила. И эти засранцы тут же сбежали (ты же понимаешь, мама: большой город – большие перспективы!). Звонят по праздникам.

А она каждый день тащится на работу (что же я, Любочка, буду дома сидеть?). И улыбается, всё время улыбается...

\* \* \*

Скажи, что со мной не так? Что со мной всегда было не так? Ведь это со мной, а не с миром, да? Ведь люди вокруг меня как-то умудряются быть счастливыми – Томочка та же?

Помнишь, я задыхалась в детстве? Мне всё казалось, что вот ещё чуть-чуть, и я смогу вдохнуть полной грудью. И вот это-го «чуть-чуть» всегда недоставало!

Я всю жизнь так прожила: вот ещё чуть-чуть...

\* \* \*

А море помнишь? Как мы с мамой ждали лета! Откладывали деньги в старую обувную коробку. Это же был целый ритуал. Мама приносила домой зарплату, раскладывала на столе денежные кучки. В одну из них шли только самые новые или бережно разглаженные мамой купюры. Я доставала из шифоньера коробку с изображением красной туфельки на крышке, и мама укладывала туда деньги: «На море!».

А в апреле мама села шить сарафаны в горошек: мне красный, себе синий. Я делала уроки за столом, а мама сидела напротив, склонив голову над шитьём. И когда я отрывалась от тетради, то видела пробор в её волосах и несколько седых волос, почти не заметных для постороннего невнимательного глаза. И на меня тогда накатывала такая волна любви, что на глазах слёзы выступали, и приходилось срочно вжиматься лицом в учебник, чтобы мама не заметила.

А чем всё кончилось?

Ну конечно море мне не понравилось!

Оно потерялось за мелкими составляющими образа «съездить на море».

Галька на пляже была крупной, жёсткой и обжигающе горячей. Стоило сесть или лечь на одеяло, и она тут же с превеликим удовольствием впивалась в тело. Морская вода оказалась отвратительно горько-солёной. В первый же день меня захлестнуло волной, и я тут же наглоталась этой гадости. А медузы? Бр-р-р! Мягкие и скользкие, как сопли.

А эти тела на пляже? Никогда не думала, что люди так некрасивы. Эта жующая, сопящая, жужжащая, потеющая масса толстых, кривоногих, плешивых, рыхлых, веснушчатых, обгорелых, волосатых тел покрывала весь берег и сползала в море бахромой дико орущих детей.

А ещё я отравилась чебуреком.

И сарафан на мне сидел, как на корове седло.

А мама была счастлива, что вывезла дочку на море.

Ну вот скажи, почему я помню только это? Ведь было же море в моей жизни, было, а вдохнуть – не получилось. Почему так?



\* \* \*

«Здрасти Любовь Григорьна!  
Пишит вам ваш бывший учиник Бек. Надеюсь вы меня ищо  
помнити. Как у вас дила?

А я про вас всигда помню. Потомушто вы были мне как  
мама!

А миня забрали в армию. У миня всё хорошо. Толька я очень  
сильна скучаю. Я решил написать вам письмо. Толька я вашева  
адриса низнаю паэтому написал на интырнат. Надеюсь пись-  
мо да вас дайдёт!

Дарагая мам Люба!

Паздравляю вас снаступающим Новым годом!

Жилаю чтобы у вас всё было хорошо!

Если у вас будит время напишите мне ответ!

Досвидания  
Кадырбек».

\* \* \*

Счастье – это как вдох полной грудью, да?

\* \* \*

Чёрт, что ж такое со сном-то?! Ерунда всякая в голову лезет.  
(«Продолжим разговор», – сказал Карлсон.)

Сколько у меня выпусков было за все годы? Шесть? Восемь?

Почему именно он? Почему именно этот мальчик?

Мы с ним, как инопланетяне, из разных миров.

Нам даже поговорить не о чем.

А помнишь, как его привезли из детдома в шестом классе?

Он забился в угол, дрожал, от глаз остались одни щёлочки,  
а голова большая, бритая, вся в шрамах.

Зверёныш! Он укусил меня за руку, когда я попыталась вы-  
тащить его из угла, а я съездила ему по башке, и он опять забился  
в угол, свернулся и завыл! И мне пришлось полчаса успокаивать

его, сидя рядом на линолеуме школьного коридора. Сначала он подвывал, потом просто всхлипывал и трясся всем телом, потом затих. И тогда я решилась погладить его по голове. Может, всё началось именно там, в школьном коридоре?

От него вечно несло столовкой и куревом. Он ждал меня у дверей интерната, и когда я входила в ворота, косолапил навстречу через весь школьный двор. Он не обнимался, как все, а просто тыкался лбом в моё плечо и вздыхал. И мне приходилось притягивать его рукой за плечи, и вот так, в обнимку, идти к школе.

Да, да, да! Ты всё знаешь! Кому я вру? Да, мне это нравилось! И если он вдруг не встречал меня, я начинала беспокоиться. Сердце куда-то ухало, и я ускоряла шаг.

\* \* \*

Наверное, я могла бы родить своего. Ну да, могла бы!

Вот только...

«Сначала – муж, потом – ребёнок!» Я ведь долго считала это правильным. Наивная девушка!

А в тридцать пять уже всерьёз размышляла, не стать ли мне матерью-одиночкой.

Ну чисто те-о-ре-ти-чес-ки!

Разговор с мамой, помнится, свёлся к двум фразам:

– Мам, может, мне родить кого-нибудь?

– Доченька, ты собралась замуж?

Н-да-а! Поговорили!

Ну и потом, необходим был мужчина (кому я объясняю?). А вот мужчины-то как раз и не случилось.

Так что образ «девушки порядочной» в глазах мамы, а также знакомых и соседей, был сохранён.

Да знаю я, знаю, что ты сейчас скажешь... Принцы? На белых конях? Какая гадость!..

Но то, что предлагал ты...

Ты ещё Димку вспомни!

Димка, маленький, щуплый, рыжий, ниже меня ростом? Ну да, я помню, как он на меня смотрел. Он всегда на лекциях садился

на третьем ряду, справа, и смотрел. Нет, не просто смотрел – прожигал взглядом. У меня каждый раз к концу лекции щека горела.

Он пригласил меня танцевать тогда на студенческом новогоднем вечере. Мы, наверное, дико смешно смотрелись. Я ещё надела босоножки на каблуках, и Димка дышал где-то на уровне груди. Сопел, как паровоз, я прямо-таки дожидаться не могла, когда уже закончится музыка.

А потом он потащил меня целоваться на лестницу, к чердаку, где обычно курили. Там такая решётка была с висячим замком. И он меня прижал спиной к этой решётке и начал целовать. По-твоему, это должно было стать самым романтичным моментом в моей жизни, да?

Ну, может, я и правда что-нибудь такое почувствовала бы, но он же приложил меня прямо к замку! Больно, чёрт возьми! И губы у него были такие мокрые! А уж когда он начал меня по груди оглаживать, совсем смешно стало. Да не хотела я его обижать, я же не просто так засмеялась – щекотно было! Ну и, правда, смешно немножко!

Кто ж знал, что он так остро отреагирует?

Переключился на Зиночку из параллельной группы, на Пономарёву, худенькую, бледненькую, ему под стать как раз! И потом они такие гордые ходили, когда она в сентябре уже с животом появилась!

Вот тебе и Димка!

Ты действительно думаешь, что я могла бы быть счастлива с ним? Ты правда так думаешь?

\* \* \*

Вишнёвое варенье! Точно. Бордовая капля на жёлтой льняной скатерти.

Как он испугался тогда, бедный мальчик, побледнел и застыл с чайной ложкой в руке.

– Ничего страшного, – сказала я, – всё отстирается. Допивай чай и укладывайся.

Ну вот, опять! А ведь почти заснула.

Ночь воспоминаний, да?

Сколько он тогда пробыл в лагере? Дней пять?

Помнишь, как он тащил в автобус вещи в белом замызганном пакете без ручек, а сверху ещё нагло высовывалась мятая сигаретная пачка? А потом прилип лицом к стеклу и махал мне, пока автобус не исчез за углом школы.

Через пять дней вечером позвонил директор.

– Любовь Григорьевна, извините за беспокойство. Рудов.

(Это «ж-ж-ж» неспроста!)

– Добрый вечер, Анатолий Иванович.

– Добрый вечер. Любовь Григорьевна, у меня к вам просьба. (Ну вот, я же говорила!) Кадырбек сломал руку. Сейчас он в травмпункте. Вы не могли бы забрать его оттуда и устроить в школе на ночь? А завтра он уедет в лагерь с машиной. Я, к сожалению, сегодня занят.

– Да, конечно.

– Ну спасибо. Всего доброго.

Вот радость-то под вечер! Переться в больницу, потом – в интернат, будить сторожа, искать, куда бы положить Бека... А в школе – ремонт!

Да и потом, ребёнок наверняка голодный.

Чёрт!

– Мама! Мы можем приютить пострадавшего на ночь?

И что на меня тогда нашло? Никогда не смешивала работу и дом. Просто выходила со школьного двора и выключала рубильник: никаких детей, никаких разговоров о школе. Всё, мой дом – моя крепость!

Это Томочка вечно кого-нибудь из интерната тащит помыть, постирать, постричь, покормить. Мать Тереза!

А тут и я рассуропилась, надо же!

И всю дорогу до травмпункта злилась за это и на себя, и на Бека, и на весь мир за компанию.

Ну приехала, смотрю – сидит около дежурной медсестры тихий, маленький какой-то. Лицо чумазое, дорожки от слёз, но не плачет уже. Левая рука по локоть загипсована, он её к груди прижимает, баюкает и вздыхает.

– И как тебя угораздило? – я всё ещё злилась.  
– Любовь Григорьяна! – вскинулся радостно так. Шагнул на-  
встречу, ткнулся носом в плечо.  
– Так что всё-таки случилось?  
– С велика упал, – сопит, но не отрывается.  
Потрепала его по голове, обняла за плечи:  
– Что, – говорю, – пойдём в гости?  
Даже не знаю, кому из нас было сложнее. Наверное, всё-  
таки ему. Я-то была на своей территории.  
– Ну вот, раздевайся, проходи!  
Он разулся и долго топтался у двери, дырку на правом но-  
ске замаскировывал.  
Я накрыла ему на кухне и ушла, чтобы не смущать.  
Пока я застилала диван, на кухне зашумела вода. Бек сто-  
ял у раковины и пытался одной рукой вымыть посуду. Тоже мне  
чистюля!  
Я отогнала его к столу, налила чаю, пододвинула ближе ва-  
реньё.  
Вишнёвая капля будто загипнотизировала его. Он, не сводя  
глаз со скатерти, обжигаясь, в два приёма сглотнул чай, отодви-  
нул табуретку и попятился от стола.

\* \* \*

Знаешь, он ни разу не улыбнулся за вечер. И вообще вы-  
глядел таким несчастным, что я снова разозлилась. Вот же не  
было печали!

И ведь всегда с ним так: если плохо ему – ну просто не ре-  
бёнок, а воплощение мировой скорби (ах, где мои носовые плат-  
ки!), а если смеётся – то сразу весь, всем организмом!

Помнишь, как на него глобус свалился? Месяца полтора  
прошло с его приезда к нам. Он тогда ещё обживался, сторонил-  
ся одноклассников, да и взрослых большей частью.

Учёба его угнетала. Вечером, когда мы с классом готови-  
ли уроки, он засыпал на последней парте, прямо на учебни-  
ках, приоткрыв рот. Иногда в сгустившейся от усердия тиши-

не (что, как ты понимаешь, случилось нечасто!) слышно было, как он похрапывает. Дети оглядывались, но посмеивались беззлобно.

Обычно он просыпался к концу второго часа самоподготовки и с минуту ещё приходил в себя, бессмысленно таращась по сторонам. А его щека до ужина хранила отпечаток уголка учебника.

В тот раз пробуждение было, видимо, слишком быстрым. Когда грянул звонок, Бек, едва вынырнув из сна, резко вскочил со стула, пошатнулся и привалился плечом к стенному шкафу. Шкаф вздрогнул всем телом и сбросил с себя глобус. Африка прищлась аккуратно на Бекову коротко стриженую макушку. Класс захихикал. Бек присел от неожиданности, ухватился рукой за ушибленное место и вдруг затрясся. Сначала мне показалось, что он плачет, и я даже рванулась к нему из-за стола, но вдруг остановилась.

Он смеялся. Смеялся легко, потряхивая плечами и зажмурив глаза. И глядя на него, уже в голос начали смеяться все.

Тогда я первый раз и увидела, как он смеётся...

Около полуночи, когда я заглянула в зал, Бек спал на моём диване, укрытый до подбородка одеялом. Меня в маминной комнате ждала раскладушка и, по всей вероятности, не самая уютная ночь в жизни. Я ещё постояла немного в дверном проёме, размышляя, оставлять ли свет в коридоре, и вдруг услышала странный звук: Бек то ли стонал, то ли скулил, не открывая глаз и не просыпаясь.

\* \* \*

Скажи, как ты это делаешь? Или я уже спрашивала? Как из такого многообразия людей ты находишь двоих, именно в этот миг необходимых друг другу?

Похоже, меня на лирику потянуло! Запоздалая отрывка сериалов и любовных романов. Помнишь, был такой период? Смотрела и читала, да-да-да! Ну и что? Мне теперь гореть в генне огненной? Или что там у тебя ещё в запасе?

А разве сериалы придумал не ты? Или это происки врагов?  
Слу-у-шай, только сейчас подумала... а Беков велосипед?  
Это ведь ты, да?

\* \* \*

Я просидела около него до утра. Гладила по голове. Под короткими жёсткими волосами на ощупь угадывались шрамы.

Он перестал скулить. И вдруг, не просыпаясь, поймал мою руку и пристроил себе под правую щеку. Ещё повозился, глубоко вздохнул и затих.

В такие моменты, наверное, положено думать о тяжёлой судьбе брошенного ребёнка и о собственной впустую текущей жизни, да? Ну, чтобы придать пафоса ситуации! Ты же любишь, когда пышно и торжественно. Или это мы придумали, что любишь?

Ну вот, ни о чём я не думала. Просто мне было хо-ро-шо! И дышалось легко и полно!

А под утро тело затекло так, что я почувствовала себя деревянным манекеном. Вытянула руку у Бека из-под щеки и пошла на кухню.

Ну?

Ну и чего ты ждал?

Что после этой ночи всё переменится?

Что я прижму его к своей трепетной груди, и мы обольёмся слезами умиления, как родственные души, наконец-то обретшие друг друга?

Как говорит одна моя знакомая: «Я т-тя умоляю!».

Бек на следующее утро уехал в лагерь, а я вернулась к своему полусонному существованию. Болото поглотило брошенный камень, круги улеглись, воду затянуло ряской, всё!

Времени-то уже, а! Четвёртый час! Поздравляю, Любовь Григорьевна, у вас бессонница! Дожили!

\* \* \*

Да, всё осталось по-прежнему!

Он всё так же встречал меня у школы, я всё так же, вернувшись домой, старательно забывала о работе до завтрашнего дня.

Его седьмой, восьмой, девятый классы...

Знаешь, я почти ничего не помню из этого времени.

Хочешь удивлю? При всём своём разнообразии жизнь скучна! Твоя придумка, да?

И уехал Бек без меня. Их, несколько сирот, увозили в областное училище. Томочка говорила, что он ждал до последнего, оглядывался на ворота.

А я лежала с температурой под двумя одеялами и самоотверженно боролась с вирусом.

В конце концов вирус я победила, а Бек уехал. И я всё забыла.

Слышишь, я всё забыла!

Я всё забыла, ушла на пенсию, похоронила маму. Я уже давно не живу.

Ну что ты хочешь от меня услышать?

Что я жалею?

Да, чёрт возьми, я жалею!

Жалею, слышишь меня?!

О жизни своей дурацкой!

О том, что так и не начала дышать полной грудью, жалею!

О том, что всё ещё живу, непонятно зачем!

Скажи, зачем?!

Молчишь?

Ты всё время молчишь!

Тебе не до меня!

Тебе всё равно!

А мне надоело, слышишь! Мне всё на-до-е-ло!

Отпусти меня, слышишь?!

Отпусти меня!!!

Отпусти!!!

Отпусти...



\* \* \*

Сдаётся мне, джентльмены, это была истерика.  
Рассвело совсем.

\* \* \*

Ты будешь смеяться, но я еду.

Еду, слышишь?

Наверное, сама ещё не до конца в это верю, но всё-таки еду.

Целый день, как савраска, носилась по городу: билеты, подарки, даже варенье у Томочки выпросила вишнёвое. Абсолютно не представляю, что нужно туда везти. Получились две огромные сумки. Ты бы видел, как я их пёрла на вокзал! Ладно хоть проводник помог в вагон затащить.

Сто лет в поездах не ездила. А тут, смотрю, ничего не меняется.

И напротив меня, конечно же, разговорчивая старушка, древняя, но любопытная.

Сейчас она пристроит багаж, расстелет постель, хлебнёт чаю и начнётся:

– Вот и едем, слава богу! К сестре в кои-то веки выбралась. Новый год вместе отметим. А у вас, смотрю, сумки такие тяжёлые. Тоже в гости?

Ну что же, глубокий вдох:

– Я к сыну еду. Он у меня в армии.

## Вернусь - поговорим

– Запомнила? В субботу в семнадцать ноль-ноль в «Радже». И никаких отговорок! Все наши будут! Ну, кроме Васьки, понятно. Кстати, звонил он недавно из своего фатерлянда: голос весёлый, устраиваются помаленьку, машину взяли. Да! Инга скорее всего тоже не придёт. Ты в курсе, что они с Игорем разбежались? Да, месяца три уже. Говорят, он дверью хлопнул и...

«Алик! Зараза! Как был сплетником... И с подробностями, будто сам свечку держал! – усмехнулась Марина, слушая, как тот разливается соловьём. – И про нас так же трещать начнёт, если...»

– Вот и получается, что вы – самая стабильная пара! – между тем не унимался Алик. – Вы у меня и в телефонной книжке на одной строчке: Марина с Ванечкой. Чёрт! Извини, звонок по городскому. Ну всё! Ты поняла? В субботу. Мы ждём. Ванечке привет!

Самая стабильная пара? Это да! Это она согласна! Только вот Ванечка, кажется, уже так не думает.

\* \* \*

Их познакомил в начале второго курса всё тот же неугомонный Алик, загоревшийся идеей создать при пединституте команду КВН. С кавээном не срослось, но команда осталась, сдружилась и даже вошла в анналы институтского фольклора как легендарная Тусовка.

Ванечка с первого же взгляда производил впечатление друга, товарища и брата: спокойный, деликатный, свой. Наследственные качества, как поняла потом Марина, ближе узнав его семью. Все они – и отец, и мать, и две его младшие сестрёнки – как подсолнухи к солнцу, разворачивались и раскрывались на каждую встречную улыбку. Кладези душевной щедрости. Соль земли. Хотелось восхититься и пожалеть одновременно.

Ванечка влюбился в неё сразу. Это было забавно. И так заметно, что все поползновения других представительниц слабого пола в его сторону отпали сами собой.

Стояла середина девяностых. Провинциальный Степногорск в качестве развлечений предлагал два уникальных места – «Клетку» и дискотеку «Радуга».

«Клеткой» называли пятачок для танцев внутри прочной металлической ограды в дальнем конце ветшающего Городского парка. Танцплощадка начинала работу в мае, заканчивала – в сентябре и славилась пьяными драками и традиционными девичьими разборками. Дискотека «Радуга» круглогодично встречала кошмарным звуком допотопной аппаратуры и шаром под потолком, из которого высыпались зеркальные осколки.

Тусовка, претендующая на наличие интеллекта, предпочитала «поговорить». Посему встречались у Ванечки.

Ванечка обладал, помимо врождённого душевного благородства, неоспоримым преимуществом перед всей честной компанией: собственной однокомнатной квартирой. Квартира досталась по завещанию от троюродной тётки отца, бездетной и одинокой веточки пышного генеалогического древа деревенской родни. Тётка в своё время переселилась в город в поисках лучшей доли, прожила отпущенные ей годы в надежде на личную жизнь и скромно и очень удачно скончалась незадолго до поступления Ванечки в институт.

Стулья игнорировали. Вместо стола расстилали на полу тёткину клеёнку с синими хвостатыми птицами на цветущих ветках. И рассаживались вокруг на затёртом зелёном с жёлтыми разводами паласе.

Учитывая юношескую несформированность вкусов, а также то, что стипендии хватало на два «сникерса», пили всё подряд: и разведённый спирт, и портвейн, и особо любимый «Казахский бальзам», настоящий на сорока четырёх травах и продававшийся чуть ли не в аптеках. Отважно смешивали составляющие и употребляли в количествах, не совместимых с возможностями ещё растущих организмов. Позеленев, так же отважно отползли в сторону туалета, неизменно радуясь унитазу с деревянным

кругом и сломанным бачком. Чуть погода возвращались к клеёнчатому дастархану и тут же включались в беседу с выражением поистине королевского достоинства на бледном лице.

О, это был роскошный трёп! Цветастый, многогранный, обильно сдобренный весьма скабрёжными шутками и оттого ещё более привлекательный. Остроумие оттачивалось на лету. Хохот валил до икоты. От обсуждения нового издания Желязны и толкования скандинавских рун переходили к классике джаза, плавно перетекали к сплетням местного драмтеатра и взмывали к вершинам голливудского кинематографа, попутно пройдясь по столпам авторского кино. Небрежно сообщали о количестве выигрышей в покер и уровне сложности пройденных туристских маршрутов, старательно не обращая внимания на произведённое впечатление. И, конечно же, не упускали случая углубиться в философию свободной любви, тщательнейшим образом оберегая информацию об отсутствии сексуального опыта.

Васька, объявленный гением на все времена, притаскивал гитару и выдавал рок-н-ролл собственного сочинения. На его худом некрасивом лице в этот момент появлялось выражение такого вдохновенного довольства собой и жизнью, что оно отблесками озаряло всех присутствующих.

Ванечка был в компании самым молчаливым. Подавал реплики редко, но весьма удачно и к месту (чем заслужил звание философа), смущался, отводил глаза от Марины и начинал пристально разглядывать рюкзак, валявшийся на шифоньере.

Марине нравилось нравиться, но, предчувствуя в своей жизни будущую всепоглощающую страсть, она холодно отвергала робкие ухаживания тусовочных мальчиков и сделала исключение только для немого обожания Ванечки.

Он одним присутствием ограждал её от настойчивого мужского внимания и при этом оставался в рамках отношений «мы – хорошие друзья», что Марину более чем устраивало.

Подтверждением их парного статуса стал Новый год всё того же второго курса. Праздновали, конечно, у Ванечки. Для начала целомудренно выпили шампанского из разрезанных пополам шоколадных Дедов Морозов. Но к двум часам количество

спиртного, мерцающие огоньки ёлки в темноте и смесь Уитни Хьюстон со «Скорпионс» из поставленных на пол динамиков начали прямо-таки подталкивать к качественной оргии, и Ванечка вызвал огонь на себя. Он включил верхний свет, вырубил музыку и объявил разгорячённым и несколько смущённым парочкам выразительно растрёпанного вида, что все играют в «Крокодила». В игру тотчас же включились с не меньшим энтузиазмом, чем пару минут назад целовались в темноте.

В шесть утра Марина вышла покурить на кухню. Сигаретный дым сизыми туманностями стоял в углях. А на сдвинутых табуретках, укрывшись влажным кухонным полотенцем, спал измученный Ванечка.

Марина тут же разогнала друзей, и они безропотно удалились, признав за ней право хозяйки дома.

\* \* \*

Тусовка уже давно уложила их в постель и перестала воспринимать по отдельности, а они всё ещё продолжали общаться по-дружески, хотя и очень сблизилась после Нового года. Марина даже несколько раз ночевала у Ванечки в ходе очередного этапа своей борьбы с отцом-тираном. Папочка занимал пост в городской администрации и блюл нравственность дочери. Марина периодически взбрыкивала и, громко заявив о своей совершеннолетней свободе, сбегала из дому на сутки. Ванечка поил её чаем, уступал диван, а сам преданно ложился на пол, завернувшись в спальник. Марина быстро засыпала, чувствуя себя в полной безопасности. Утром, выспавшаяся и свежая, она чмокала Ванечку в щеку и бежала мириться с папой. Это был старый проверенный способ, благодаря которому домашние военные действия на какое-то время прекращались.

Их первый раз произошёл в апреле, двадцать девятого числа. Тусовка собиралась провести майские праздники на природе, на любимой Шаман-косе, в окружении берёз, скал и небольшого водопада. Марина с Ванечкой вернулись из магазина, нагруженные тушёнкой, сгущёнкой, макаронами, оставили сум-

ки на кухне, плюхнулись на диван. Разговаривать не хотелось, но в теле ощущалась радость тёплого упругого весеннего дня. И эта радость, как газировка, не желала оставаться внутри, а рвалась наружу, выплёскиваясь на сидящего рядом.

Их пальцы переплелись, и они потянулись друг к другу. Вернее, потянулась Марина, и Ванечка не стал её останавливать. Целовались упоённо, заряжаясь друг от друга желанием и понимая, что на поцелуях не останутся.

Ванечка оказался неожиданно опытен (летние каникулы в деревне не прошли даром), а потому нетороплив и нежен. Марина осталась довольна, Ванечка был счастлив.

На четвёртом курсе он сделал ей предложение.

– А зачем нам жениться? – удивилась Марина. – По-моему, и так всё хорошо.

– Понимаешь, я хочу, чтобы у нас была семья, дом, дети...

– Ванечка, ты с ума сошёл! Какие дети? Мне двадцать лет, я ещё жить хочу!

Ванечка огорчился и даже обиделся, но Марина не собиралась его успокаивать. Они прекрасно ладили, у них был чудный секс, но впереди её ждала Большая Любовь и Целый Мир. А потому ограничиваться Ванечкой было всё равно что прожить жизнь в тихом домике на окраине мегаполиса и ни разу не доехать до центра.

\* \* \*

Никитин руководил одним из первых в городе турагентств, был неотразим и разведён, что, несомненно, добавляло ему шарма. Марина начала у него работать ещё до окончания ин-яза (какая школа, о чём вы говорите?) и быстро добилась его благосклонности. Они прекрасно смотрелись вместе в любом интерьере и пейзаже, Никитин часто брал её с собой на деловые встречи и презентации. Несколько раз они отдыхали вдвоём, большую часть времени проводя в постели, и Марина была готова поспорить, что Никитин вскоре решится на следующий шаг. Однако время шло, а предложения руки и сердца или хотя бы намёка на то, что это вообще случится, не поступало.

Марина вышла из душа, остановилась у зеркала и продуманным движением сбросила с себя полотенце. Повертелась, давая возможность Никитину рассмотреть себя в жёлтом свете настенных бра, потом повернулась к нему спиной и стала расчёсывать волосы, наблюдая за мужчиной в отражении. Никитин поглядывал на неё с явным удовольствием, и Марина решила, что это хороший знак для начала важного разговора.

– Эх, Никитин-Никитин, не ценишь ты меня, – она постаралась придать голосу побольше беспечности. – Посмотри, какая красота зря пропадает!

– Очень даже ценю, – весело отозвался Никитин. – И, по моему, ты в этом убедишься пятнадцать минут назад. И куда же ты можешь пропасть от меня, красота?

– Вот возьму и замуж выйду!

– Ну что ж, твоё право! Никак друг наш малохолный снова активизировался?

– Не смей так о Ванечке! – Марина швырнула расчёску на туалетный столик, развернулась к Никитину и вдруг жалобно попросила:

– Никитин, позови меня замуж, а?

– Ты же знаешь, я не создан для семейной жизни! А тебе, наверное, и правда пора, – Никитин подошёл к Марине, обнял за плечи, поцеловал в склоненную макушку. – Ты подумай хорошенько!

Всё время, пока он был в душе, Марина проплакала, потом демонстративно оделась и ушла, оставив Никитину ключи от квартиры на видном месте.

\* \* \*

Ванечка после окончания физмата преподавал в престижном лицее с математическим уклоном. Он отрастил бородку для солидности, носил вязаные безрукавки с рубашкой и галстуком и с виду очень напоминал положительного чеховского героя, такого земского врача.

Марина прибилась к нему, как к родному берегу, и разрешила жениться на себе.

Свадьба была традиционной и большой, учитывая необъятность Ванечкиной родни.

– Странно, что вы до сих пор не женаты! – удивлялась Тусовка, зажигательно позируя перед всеми возможными объективами.

Васька притащил знакомиться будущую жену – тощенькую беленькую немочку Лору Штрук. Они всё время целовались и в разговоре постоянно переходили на немецкий.

Алик на тот момент разводился, на свадьбу пришёл один. Он активно взялся ухаживать за тремя Ванечкиными двоюродными сестрами. Девушки хоть и смеялись его шуткам, но танцевать упорно соглашались исключительно со знакомыми деревенскими парнями.

Беременная Инга срывалась на Игоря. Он молча сносил её капризы и сосредоточенно напивался.

Марина нервничала, курила, оглядывалась на двери, ожидая Никитина, который одумается и придёт за ней в последний момент. И наверняка знала, что он не придёт. В конце первого дня, оставшись наедине с Ванечкой, она прямо в свадебном платье упала на кровать и разрыдалась от жалости к себе и ненависти к Никитину. Ванечка, примостившись рядом, обнимал её и гладил по голове.

После свадебного путешествия она вернулась на работу. Никитин поздравил её с бракосочетанием. Марина церемонно приняла большой букет роз из его рук.

Теперь, в присутствии посторонних, начальник выказывал ей почтение, соответствующее статусу замужней дамы, и только наедине обращался на «ты», при этом тщательно избегая фривольности. И Марина ненавидела его за это ещё больше.

Ванечкину квартиру поменяли на приличную двушку в доме сталинской постройки. Марина покупала мебель, выбирала шторы на свой вкус и мечтала, как однажды раздастся звонок в дверь, и Никитин, а это будет, конечно же, он, кинется ей в ноги...

С Ванечкой жилось легко: они вместе готовили, наводили порядок, смотрели фильмы и даже ходили в гости к родителям,



если Марина была в настроении. А когда на неё нападали приступы тоски, Ванечка понимающе оставлял её в спальне и сиделся на кухне за проверку тетрадей.

Однажды её осенило: она должна стать незаменимой на работе. И тогда Никитин всё поймёт. Она повеселела, окунулась с головой в туристический бизнес, часами сидела в Интернете, окончательно оккупировав домашний компьютер.

Ванечка снова завёл разговор о ребёнке, Марина небрежно отмахнулась.

Её усилия не пропали даром: компания на порядок расширила перечень туров и услуг. Никитин предложил ей должность своего заместителя и сказал, что всегда верил в неё. Они отмечали её назначение в ресторане в кругу нескольких коллег по работе. Никитин был в ударе, рассказывал анекдоты, смеялся. Марина смотрела на него не отрываясь. Сегодня ей не хотелось его ненавидеть.

Ванечка встретил её дома, пьяненький и довольный:

– Ма-а-риночка! Какая ты красивая!

– Я такая красивая весь вечер, а ты не приехал! Ты понимаешь, как для меня это важно?!

– Ну-у, Ма-а-ариночка! Я был за-анят! Ируська девочку родила! У меня теперь племяшка есть! Ма-а-аленькая де-евочка! – Ванечка обнял Марину, обдав крепким алкогольным духом, положил голову ей на плечо. – Я тоже хочу ма-а-аленькую девочку. Мариночка, давай родим девочку, а?

– Ванечка, ты пьян. И потом, мы ведь это с тобой уже обсуждали. Всё, пусти меня, я устала. – Марина расцепила руки мужа, сняла туфли и направилась в ванную. – Всё, спать-спать-спать.

– Да, мы это обсуждали. И я тоже устал, – сказал Ванечка ей вслед. Прозвучало вполне трезво.

\* \* \*

Зима выдалась снежной, что в последние годы было редкостью. В начале недели Никитин собрал коллектив и объявил:

– В субботу едем кататься на лыжах. В «Горном» нашу фирму ждёт коттедж. Собираемся в восемь утра на парке.

– Я не могу, – сказал Ванечка Марине, – у меня в субботу консультация.

– Ну конечно! – бросила она, но про себя облегчённо вздохнула: намечались выходные с Никитиным.

Марина купила светло-сиреневый лыжный костюм, белую вязаную шапочку и пришла к выводу, что выглядит ослепительно.

Никитин явился не один. Вместе с ним в автобус влезло существо в джинсиках, синенькой курточке и пушистой рыжей ушанке с помпонами.

– Знакомьтесь, это Аллочка! – сказал Никитин, поприветствовав подчиненных.

Аллочка была голубоглаза, невинна личиком и бессовестно юна.

«Пионерка, – подумала Марина. – Боже мой! Никитин на школьниц перешёл».

«Пионерку» в автобусе укачало, и они минут на пятнадцать застряли посреди степи. Аллочка стояла у автобуса, приоткрыв рот, глубоко вдыхала морозный воздух. Никитин держал её за руку и смотрел сочувственно. Марина наблюдала за ними через автобусное стекло, как за рыбами в аквариуме: красавец жемчужный гурами и неонка. Смешно!

В доме отдыха выяснилось, что босс кататься на лыжах не будет. Он вывез коллег за город, обеспечил им активный отдых и посчитал свою задачу выполненной.

Теперь по расчищенным дорожкам дома отдыха он бережно выгуливал Аллочку, которая оказалась на втором месяце и буквально на днях получила от Никитина предложение о замужестве.

Марина была убита. Непослушными руками нацепив лыжи, она укатила так далеко, как только позволило дыхание. Накатанная лыжня вела по заснеженному полю и заворачивала у подножия горы. Марина ушла с лыжни. Проваливаясь в снег по щиколотку, обогнула гору, добралась до ствола поваленной берёзы, смахнула с него варежкой снеговую шапку и уселась, отстегнув лыжи от ботинок. Здесь было тихо, безветренно. Дом

отдыха остался за горой, и сюда долетали только редкие возгласы особенно восторженных лыжников.

Марина рыдала долго. Так долго, что прошло, казалось, несколько часов. Наконец она почувствовала, что замерзает, и стала слезать со ствола. Затёкшее тело слушалось плохо. Правая нога подвернулась, и Марина, не удержав равновесия, рухнула лицом в снег.

Снежная маска взбудрила. Марина обмахнула варежкой разгорячённое, опухшее от слёз лицо, встала и начала прилаживать лыжи.

Несмотря на боль в ноге, доехала она быстро, но когда сняла лыжные ботинки, лодыжку тут же разбарабанило. Появился отличный повод сбежать домой от Никитина, его «пионерки» и любопытных взглядов коллег, помнивших о её романе с боссом.

Ванечка открыл не сразу и был, видимо, очень недоволен тем, что дверной звонок ему помешал. При виде Марины, хромающей через порог, раздражение на его лице сменилось сначала недоумением (он ждал её только завтра к вечеру), а потом состраданием. Он помог ей раздеться, довёл до дивана и, бросив на неё смущённый взгляд, подошел к телефону.

– Да! Да, хорошо! До завтра! – торопливо сказал он в трубку.

\* \* \*

Следующие несколько дней она провалялась в постели. На работу сообщила, что нога пока болит. А Ванечке пожаловалась, что вдобавок ещё и простыла.

На самом деле она страдала. Она погружалась в страдания, как в кислоту, выжигая всё живое. Сначала она ненавидела Никитина и его новую Большую Любовь. Потом ненавидела себя и своё унижение. Потом – всё и всех вокруг, включая подушку в нежно-розовой шёлковой наволочке, на которой лежала, и до отвращения деликатного Ванечку, оберегавшего её покой и спавшего на диване в соседней комнате. Потом на ненависть уже не осталось сил. Навалилась апатия. Марина пребывала в

тяжёлом, как плотный туман, состоянии на границе сна и яви. И только одна фраза, точно явившаяся из второсортного боевика, гвоздём сидела в покинутой всеми мыслями голове: «Твоя ставка не сыграла, детка!».

Но однажды утром Марина проснулась с ощущением лёгкости в теле и на душе. Мозг, как бы пробуя на прочность её новое состояние, выдал всё ту же фразу, но прозвучала она уже с другой интонацией: «Твоя ставка не сыграла, детка?». И тут же пришёл ответ: «Так собери мелочь по карманам и играй дальше!».

Марина поднялась с постели, медленно прошла по квартире. Ванечка уже ушёл на работу. На диване аккуратной стопкой лежали сложенное одеяло, простыня и подушка.

В холодильнике обнаружился борщ в кастрюльке и четыре котлеты. «Ва-а-нечка! – умиленно подумала Марина, ухватила котлету руками, откусила почти половину, начала жевать. – М-м-м! Готовит как бог! Никитину и не снилось!»

«Никитин... А что, собственно говоря, такое Никитин? Обыкновенный стареющий, лысеющий мужик. В меру жадный, в меру эгоист. Предсказуемый и...» Тут она запнулась, подбирая подходящее к случаю уничижительное слово, и вдруг поняла, что думать о Никитине ей совершенно не хочется.

А хочется ей...

Новых горизонтов, новых ощущений хочется!

Она выздоровела, освободилась, родилась заново из пены морской!

Волны плещут, небеса сияют!

Всё к чертям! Начинаю новую жизнь!

Новая жизнь требовала немедленного действия, движения, бурления. Петь, смеяться, покрасить волосы, купить новую сумку! И туфли! И тот костюмчик, оливковый! И...

Марина рванула форточку, глубоко вдохнула морозный воздух. На подоконнике жались учебники по алгебре и геометрии. С тех пор как жена заняла компьютер, Ванечка готовился к урокам на кухне. Марина ухватила всю стопку и понесла в комнату.

– Друзья мои, поздравляю с возвращением из эвакуации! – торжественно произнесла она, определяя книги на письменный стол. Ласково потрепала учебник по алгебре за десятый класс, словно погладила Ванечку по руке, и вдруг замерла. Мысль была простой и понятной, как пластмассовая пуговица с двумя дырками.

Ванечка! Ну конечно!

Долой придуманную, синтетическую любовь! Даёшь натурального производителя!

Ванечка! Родной! Обнимающий взглядом в прокуренной, набитой громкоголосыми студентами квартирке! Целующий осторожными тёплыми губами родинки у неё на щеке! Смущённо улыбающийся в дверях спальни на её «отстань, мне плохо!».

Ванечка любящий! Уникальный вид! Занесён в Красную, Зелёную, Золотую, Платиновую книги! Охранять и беречь!

Ты хотел ребёнка? Будет тебе ребёнок! Девочку? Будет девочка! Ты только скажи! Девочка, маленькая, с косичками! Глазки, ручки, ушки. Завтра же иду к врачу. Всё будет: музыкальная школа, танцы, с меня – английский, с тебя – математика. И мальчика потом. Мужчины всегда хотят сыновей, я знаю. Футбол, каратэ, велосипед. Каникулы в Англии, когда подрастёт, у нас на фирме есть программа. Квартиру, конечно, нужно менять – у детей должны быть свои комнаты. А может, лучше дом? А? Отец поможет. Дом в пригороде, свежий воздух, тишина. Две машины. Тебе нужен какой-то солидный автомобиль. Ты к тому времени будешь директором лицея. Сколько можно сидеть в рядовых учителях?! Не переживай, я помогу, поддержу. У нас всё получится!

Марине захотелось позвонить мужу сейчас же, сию секунду, огорошить, выложить в один выдох и про детей, и про дом, и про их новую, безусловно, счастливую жизнь.

– Извини, у меня урок. Перезвони позже, – сухо отозвался Ванечка.

«Нет, по телефону совсем не то, – решила Марина. – Вечер. Праздничный вечер! Вино, свечи, постель! Ну что, учитель мой дорогой, вы готовы к встрече с роковой женщиной?»

Салон красоты, торговый центр, отдел нижнего белья, винный погребок, мясная лавка. И всё легко, распрямив плечи, приподняв подбородок, улыбаясь. Жизнь, я люблю тебя!

Марина с ворохом пакетов взбежала на четвёртый этаж, не дожидаясь лифта. В прихожей горел свет, стояла красная дорожная сумка.

– Ванечка, я пришла! – крикнула Марина с порога.

Ванечка суетливо выскочил из комнаты, подбежал, потянул на себя пакеты. Марина пакеты придержала и, прижимаясь к Ванечке, обволакивая его своей салонной неотразимостью, томно произнесла:

– Иван Андреич, вас ждёт сегодня праздничный ужин.

– Марина, я уезжаю через час.

От неожиданности она выпустила пакеты из рук, и Ванечка, освободившись, попятился с ними в сторону кухни.

– Что значит уезжаешь? Куда? – Марина скинула сапоги и двинулась за мужем, на ходу растёгивая шубу.

– Везу детей на областную математическую олимпиаду, – Ванечка уже освободился от пакетов и шагнул в комнату.

– Нет, т-ты не можешь уехать... я... мы... – Марина растерялась, вошла за ним, опустилась на диван.

Ванечка остановился у стола, повернулся к ней спиной и стал перебирать учебники. В напряжённой тишине, установившейся между столом и диваном, казалось, не слышно было даже дыхания. Наконец Марина опомнилась, собралась и ринулась в бой:

– Ванечка, ты не можешь сегодня уехать! У меня такие планы на вечер! Я должна тебе кое-что сказать... – она постаралась, чтобы в голосе явственно прозвучала обида. На Ванечку это всегда действовало безотказно.

– У меня к тебе важный, очень важный разговор! Ты слышишь? От него зависит вся наша дальнейшая жизнь! – она добавила громкости. – А ты вот так, без предупреждения, уезжаешь на какую-то непонятную олимпиаду?!

– На ма-те-ма-ти-чес-кую! – глухо произнёс Ванечка, развернулся и вдруг, распалаясь, заговорил всё быстрее и громче: – Я предупреждал тебя, что сегодня уезжаю. Предупреждал, но ты

меня не услышала! Ты никогда не слышишь, если дело не касается тебя. Так вот послушай сейчас: эта поездка важна для меня не меньше, чем для тебя твой разговор. Я хороший учитель, Марина. Ты, возможно, даже не догадываешься, тебя никогда это не интересовало, но я – хороший учитель! И у меня способные ученики. Мы уже несколько лет побеждаем на городских олимпиадах. А сейчас есть шанс пробиться на всероссийский уровень. И что бы ты ни собиралась мне сказать, это подождёт до моего возвращения! Хотя, честно говоря, я не уверен, что нам есть о чём говорить!

Она никогда не видела у него такого жёсткого лица, он никогда не говорил с ней в подобном тоне.

Марина вдруг растеряла весь боевой запал, ступившись, вжалась в диван:

– П-почему не о чем? Есть о чём. О нас. О детях...

– О каких детях, Марина?

– Ну о наших с тобой, о будущих...

– Зачем ты сейчас об этом? – лицо его смягчилось, и теперь Ванечка выглядел скорее уставшим, нежели рассерженным.

– Как зачем? Мы любим друг друга, у нас семья и...

– Да брось, Марина, ты меня не любишь. И не любила никогда. Тебе со мной удобно, – вернул он ей вдруг её же слова, сказанные когда-то в порыве пьяного откровения.

– Но ведь ты меня любишь.

– Не знаю. Мне нужно подумать. Понимаешь... Я, кажется, влюбился.

– Ты... что?.. И как... И кто она?

– Марин, давай не сейчас. Выходить пора. Я должен подумать. И потом мы поговорим, хорошо? Вернусь – и поговорим.

\* \* \*

В прихожей мягко щёлкнул замок. Марина, не отрывая взгляда от двери, потянулась к запиликавшему телефону и услышала в трубке жизнерадостное приветствие Алика.

# Карнавал

Всё утро Андрейка куксился и похныкивал. Хныканье обрывалось на той неопределённой ноте, после которой неминуемо должен был следовать рёв. Но Андрейка вдруг затихал и какое-то время лежал, беззвучно помахивая кулачками. Потом его маленький подбородок начинал подрагивать, личико съёживалось, и хныканье возобновлялось.

Услышав, как сын заходит на новый круг, Санька закусила губу и водрузила на гладильную доску ворох пелёнок, распашонок и ползунков:

– Я справлюсь, – сказала она себе, – справлюсь! Всего каких-то три дня.

Эта трёхдневная командировка возникла неожиданно. Вадим успел только заскочить домой, наскоро собрать вещи. Санька растерянно кивала на его слова: да-да-да, продукты, лекарства, телефоны. А перед выходом вжалась в него вся, обхватила руками, зарылась лицом в шарф на его шее и долго стояла, прислушиваясь к дыханию мужа.

– Папа уехал, а ты буянишь! Приедет, спросит: «Как тут вёл себя мой Андрейка?». Что я ему скажу? – Санька закончила с распашонками и принялась за пелёнки. Андрейка, внимательно выслушав её, опять скусился.

– Ну что, что тебе неймётся? – должно было прозвучать строго, но вышло жалобно и тоскливо. Санька выключила утюг, вынула сына из кровати, пробежала губами по лицу, прижала к себе и вздохнула:

– Скучаешь по папе? И я тоже скучаю! – она вдруг всхлинула. Ребёнок, откликаясь на её настроение, снова захныкал. И Санька заговорила торопливо и нарочито бодро:

– А пойдём-ка прогуляемся по дому, раз на улицу не пошли. Ай, какой дождик, помешал Андрейке гулять!



Но и путешествовать по квартире Андрейке скоро наскучило. Гладкие, светлые, почти белые стены, тёмные полы. Ничего лишнего, ничего пёстрого, никаких ярких пятен, кроме недоглаженных ползунков и погремушки на полу у кровати, – минимализм и функциональность, как любит Вадим.

Пусто и холодно. Без Вадима здесь всегда холодно.

Санька остановилась у окна, выглянула во двор, но теплее не стало. С самого утра было пасмурно, а ближе к обеду и во все закапал дождик, первый в этом году. Деревья стояли голые, с набухшими уже почками. Восточный ветер проходил сквозь ветки, как сквозь зубья расчёски, и уже приглаженный, но не усмирённый кидался на окна. Санька поёжилась, отошла от окна.

Андрейка, успокоившийся было на руках, снова захныкал.

– Ну хорошо! Знаю я одно средство. Только, чур, папе не говорить.

Санька прошла в зал, забралась в угол дивана, пристроила на руках Андрейку и взяла пульт от телевизора.

Вадим телевизор почти не смотрел и не любил, когда Санька включала его при нём:

– Зачем тебе этот дурацкий ящик? У тебя есть мы – я и Андрей. И мы хотим, чтобы ты была с нами. Иди сюда, ко мне, – он притягивал жену к себе на колени, мягко вынимал из её рук пульт и нажимал на красную кнопку.

Телевизор был в квартире единственной вещью, с присутствием которой Вадим мирился исключительно в силу соответствия интерьера исторической эпохе. Правда, время от времени он приносил диски с фильмами и устраивал домашний кинотеатр. Это делало телевизор в его глазах не до конца бесполезным, поэтому плазменная плита всё ещё занимала своё место в доме.

Изредка, пока Вадим был на работе, а Андрейка капризничал, Санька перебиралась в зал. Под бормотание телевизора ребёнок как-то вдруг успокаивался и задрёмывал. И хотя действие достигало нужного эффекта, Саньке всегда становилось не по себе. Она чувствовала себя немного предательницей. Будто в её душе, прозрачной и открытой Вадиму, как речной песок на мелководье в солнечный день, вдруг появлялся тёмный острый камешек.

Обычно вороватое Санькино общение с телевизором ограничивалось двадцатью минутами равнодушного переключения каналов. Но сегодня она впилась глазами в картинку и даже добавила звук.

На экране сверкал карнавал.

Тот самый, бразильский, который раньше казался ей чересчур громким, цветастым и даже немного вульгарным в сравнении с венецианским, обрушился на неё всем своим хищным великолепием. От шоколадных танцовщиц, выступающих по самбодрому в ослепительных конструкциях из перьев, стразов и позолоты, в комнату дохнуло жаркой бразильской ночью.

И Саньке показалось, что её лицо опалило этим жаром.

\* \* \*

– Папа, я должна знать о карнавалах всё! – двенадцатилетняя Санька ворвалась в мастерскую и запрыгала возле отца, сияя глазами.

– Нашла?

– Нашла-нашла-нашла! – она ухватила за отцовский локоть и затрясла его изо всех сил.

– Санька, стой! Подожди секунду!

Отец отложил сиреневый мелок в коробку, вытер пальцы о тряпку и повернулся к дочери:

– Ну вот теперь давай, я готов!

Санька повисла у него на шее:

– Карнавалы, пап, ты понимаешь?.. Меня как ударило... Вот оно!

Спустя какое-то время они сидели на диване, и Санька в подробностях рассказывала. Как она пошла к Лерке Силкиной, потому что завтра зачёт, а вопросы она потеряла. Как Леркина мама устроила большую весеннюю уборку. Как они уронили со шкафа коробку с искусственной ёлкой, а Леркина мама подумала, что кто-то из них упал со стремянки. Как у коробки оторвалось дно, и вместе с пластмассовыми еловыми ветками (фу, гадость!) вывалилось несколько новогодних масок.

– Понимаешь, пап, я стала их складывать в коробку, а они совсем старые, а одна такая затёртая, и я подумала, что её нужно заново раскрасить. А потом подумала, как здорово нарисовать маску или даже целый костюм, как на карнавале. И тут до меня дошло... Понимаешь? Карнавалы! Пап, они же разные бывают, да? В Бразилии есть, да? А ещё где? Пап, я хочу знать про них всё!

– Да, конечно, всё узнаешь... Санька, я так рад! Своя тема! Я же говорил, говорил, что найдёшь! Просто придёт время... Мы должны рассказать маме.

И они, обгоняя и дурашливо отпихивая друг друга, побежали на кухню.

– Санька, мы с мамой поздравляем тебя с таким знаменательным событием в жизни художника, как нахождение своей темы. Возможно, это определит твою творческую судьбу. Но теперь, когда тема найдена, ты должна будешь много, очень много работать. Ты это понимаешь?

Отец произносил торжественную речь за кухонным столом, который в честь праздника был накрыт льняной бабушкиной скатертью, а посреди стола в тонком керамическом кувшине стояли фиолетовые ирисы. От сочетания жёлтой скатерти и фиолетовых цветов Санька с отцом пришли в восторг и долго упрашивали Надежду не портить красоту.

– Мама, мы и на полу поедим! – кричала Санька. – А на стол просто смотреть будем.

– Ну уж нет! Праздник так праздник! – сказала Надежда твёрдо.

И теперь на столе красовались ещё наполненные тарелки и кружки, оставшиеся от трёх разных сервизов, и это добавляло пестроты и радости глазу. Здесь редко обращали внимание на то, что лежало в тарелке. А сама тарелка больше интересовала как возможная составляющая натюрморта.

– Художники – что с них взять! – вздыхала Надежда, стараясь придать словам страдательные интонации. Но получалось плохо, потому что в голосе неизменно звучала гордость.

– Заканчивай поскорее школьные дела и приступай к работе. У тебя впереди целые каникулы. Время нужно потратить с пользой. Завтра сделаю запрос в библиотеке, чтобы нам подобрали книги. Эх, в Сети бы покопать... Надюша, мы должны подключиться к Интернету. Я понимаю, что дорого, но ребёнку нужна информация...

И родители погрузились в обсуждение вечного, не теряющего остроты вопроса «где найти деньги?», а Санька сбежала из-за стола в мастерскую. Помечтать.

\* \* \*

– Паша, ты слишком давишь на неё. У девочки каникулы, она должна отдохнуть, а ты – «работать, работать».

Надежда мыла посуду, а Павел расслабленно сидел за столом и вертел в длинных пальцах бледно-голубую салфетку.

– Надюша, пойми, это не прихоть отца-самодура, это необходимость. Санька талантлива, очень талантлива. Это не потому, что она наша дочь. Я профессионал, я вижу. Но ей нужно работать, много работать. Ей самой это нужно, понимаешь? Чтобы чувствовать себя счастливой. Поверь мне, я знаю, что говорю. Она ведь мучилась, я видел, она мучилась, пока нешла. И я ничем не мог ей помочь. Только дать время. Она сама должна была понять, что ей нужно, что интересно... А какая тема! Надюш, это же просто клад, а не тема! Столько возможностей, столько идей! Молодец Санька!

Радостное возбуждение не покидало Павла, и Надежда в очередной раз поразилась, насколько отец и дочь похожи.

– Лизу я уже упустил. Ты помнишь, как она рисовала в детстве? А сейчас... Да что говорить...

– Паш, ну зачем ты так! Лиза у нас умница, институт окончила, внука нам родила...

– Всё так, Надюша, всё так! Кто же спорит? И умница, и красавица... Только вот инженеров этих вокруг сколько? Сотни, тысячи? Да и вернётся ли она на работу – ещё вопрос. По моему, Олега всё устраивает: жена дома, с ребёнком, пироги печёт. Чего ещё надо?

– Ты не прав, Паша! Дочь счастлива, довольна жизнью, а ты ворчишь!

– Надюша, мне кажется, она что-то потеряла в себе, и в этом виноват я! Слишком молод был, слишком занят собой. И она закрылась, ушла. Не чувствую я её, Надюш. Знаю, что люблю. И я её люблю. А не чувствую! Потому боюсь теперь и Саньку упустить. Она для меня сейчас – как открытая ладошка: всю вижу!

– Да уж, папина дочка!

Санька была поздним ребёнком. К моменту её рождения пятнадцатилетняя Лиза жила своими интересами, и Павел со всем пылом вновь обрётённого отцовства взялся за воспитание младшей дочери. Надежда посмеивалась, глядя на их измазанные краской довольные лица, и не вмешивалась.

Признав когда-то за Павлом статус Большого Художника, она раз и навсегда добровольно взвалила на плечи обязанности хозяйки дома, а когда появилась Лиза – все заботы о её воспитании. Девочка росла умной, здоровой и обычной. Надежда, в отличие от Павла, смотрела на дочь более трезвым взглядом и любила в ней ещё и эту обычность. И пока Павел метался в поисках нужного цвета, освещения и ракурса, пока договаривался о выставках и маялся над оформительскими заказами (жить-то на что-то надо даже Большим Художникам), две его женщины – большая и маленькая – тихо обитали в его тени, создавая вокруг мужа и отца бережную атмосферу благоговения и покоя.

Лиза бросила художественную школу в тринадцать лет.

– Лучше рисовать я уже не начну, мам! Потолок! Я же дочь художника, понимаю. Да и не хочу, если честно. Папа, конечно, расстроится, но что делать?! Он ведь сам говорил: надо искать себя. Вот и буду искать.

Павел не просто расстроился – заболел. Он лежал на диване с температурой и смотрел на жену и дочь несчастными глазами, но Лиза была непреклонна. И Павел смирился, хотя в душе не переставал себя обвинять.

А через несколько дней уехал в Москву на Международную художественную выставку, посвящённую XII молодёжному фестивалю, и Лиза обрела долгожданную свободу.

С тех пор отец и дочь начали отдаляться. Они, как и прежде, были ласковы друг с другом, но каждый жил в своём измерении.

А потом родилась Санька, и Павел вдруг почувствовал, что получил второй шанс. Он расцвёл, даже как будто помолодел и полностью завладел дочкиным вниманием. Надежда мудро отодвинулась на второй план. Материнская интуиция подсказывала, что так будет правильно. Что Санька другая, не такая, как Лиза. Что это единение душ необходимо не только дочке, но и Павлу, который в возрасте сорока двух лет, кажется, начал взрослеть.

\* \* \*

Андрейка причмокнул губами, и Санька приложила его к груди, лишь на секунду оторвавшись от экрана.

По самбодрому двигалась бело-голубая платформа с гигантской куклой беременной женщины под серебристой накидкой. По бокам платформы тоже возлежали и восседали беременные. Их изображали живые люди с накладными пластиковыми животами, под прозрачными куполами которых помещались розовые тельца пластиковых же младенцев.

Восемь лет назад это зрелище показалось бы ей отвратительным. Слишком земно, слишком грубо, почти на грани. Тогда, в двенадцать, физиология была для неё только строчками учебника, а мысли парили над землёй – невесомые и нежные, как маленькие пёрышки облаков в высоком летнем небе. Но сейчас, держа на руках засыпающего Андрейку, Санька просто улыбалась жизнерадостной фантазии бразильцев.

Как много изменилось за восемь лет!

В то лето Надежда со старшей дочерью и маленьким внуком Петей гостила в деревне у родни, оставив Саньку и Павла одних «на хозяйстве», как она говорила, почти на полтора месяца.

Отец и дочь, предоставленные сами себе, поднимались в половине восьмого, съедали по яйцу всмятку и шли в мастер-

скую. Павел вставал за мольберт, а Санька садилась у окна за чёрный письменный стол, который они перетащили из её комнаты. Рисовала, постепенно отодвигаясь по столу от горячих солнечных лучей.

Ближе к полудню, когда солнце захватывало и нагревало всю столешницу, Санька перемещалась на диван и читала принесённые отцом книги по истории европейских и латиноамериканских карнавалов, разглядывала иллюстрации и фотографии. Из всего карнавального многообразия её всё больше и больше притягивал венецианский карнавал. Строгий, изящный, таинственный, облачённый в плащи и маски на фоне площади Святого Марка, при свете факелов, отражающихся дорожками в чёрной ночной воде.

К трём часам дня Санька спохватывалась и бежала на кухню, кидала в воду пять сосисок (три – отцу, две – себе) и возвращалась в мастерскую. Через полчаса, когда остатки выкипевшей воды шипели на дне кастрюли, Санька снова вбегала в кухню, шлёпала лопнувшие вываренные сосисочные тела на тарелку, доставала из холодильника майонез и нарезала батон. Под гудение закипающего чайника они с Павлом обедали, а после работали уже до вечера.

Часов в девять, точно две сомнамбулы, опустошённые до звона в голове, уходили на речку. По дороге молчали. Шли через сады, частью обработанные, частью брошенные хозяевами и уже зараставшие малинником и молодыми побегими клёна. Изредка отец останавливался и, махнув рукой куда-нибудь в угол сада поверх гривы хмеля, спускавшегося с деревянного забора, удивлённо восклицал:

– Гляди, Санька, какое интересное сочетание: нефритовый и оливковый!

– Ага! И ещё сбоку глубокий зелёный, – добавляла она.

Вынырнув из-под арки сплетённых вишнёвых веток, они попадали на берег и спустились к воде. Санька с визгом влетала в нагретую за день речку, ныряла и плыла к бревну, край которого, выбеленный солнцем, торчал метрах в семидесяти от берега. Павел входил в воду плавно, без остановок и на середине пути

догонял Саньку. Они покидали берег лёгкие и счастливые и неторопливо возвращались домой в тёплом свете заката.

Ужинали чаем с крекерами, горкой насыпанными в глубокую синюю тарелку с золотой полосой по волнистому краю. Готовить не хотелось совершенно. Кажется, Надежда перед отъездом даже записала для них несколько рецептов в тонкую тетрадку с большим жирным пятном на обложке, очертаниями напоминавшим Африку. Санька положила тетрадь на холодильник, не заглянув в неё, и забыла на полтора месяца.

Только однажды в нарушение установившейся традиции на столе появилась клубника. Баба Женя со второго этажа, покровительница подъездных кошек, принесла эмалированный бидон крупной тёмно-красной ягоды с жёлтыми семечками, глубоко сидящими в душистой мякоти. Конечно, сначала они зарисовали клубнику во всех возможных ракурсах, меняя фон и посуду. Потом ели её за ужином, уже измученную, впитавшую в себя запахи мастерской.

Перед сном обычно читали при свете ночников каждый в своей комнате, пока не засыпали.

В начале учебного года в выставочном зале художественной школы открылась персональная Санькина выставка. Павел сиял.

\* \* \*

Огромный мохнатый муравьед с хитрыми полуприкрытыми глазками восседал на платформе в окружении веток диковинного растения. Прямо под выступающим козырьком длинного узкого носа животного билась в экстазе танца черноволосая и белозубая танцовщица в ореоле ярко-оранжевых перьев.

Карнавал шумел.

Санька потянулась к пульту, чтобы убавить звук, но передумала. Осторожно поднялась с дивана и понесла заснувшего Андреяку в спальню. Она укрыла сына одеяльцем, провела пальцем по крошечному лобу от тёмных волосков до переносицы, немного постояла, прислушиваясь к дыханию ребёнка, подняла с пола погремушку.



Снова стало зябко. Обхватив себя руками за плечи, Санька прошла в ванную. Ванная была сплошь чёрной от пола до потолка. Придя в дом впервые, Санька подивилась дизайну, а после перестала обращать внимание, раз Вадима всё устраивало. Белые махровые халаты на фоне чёрной стены казались поникшими привидениями. Санька накинула на себя один из них, запахнулась поглубже и вышла на кухню.

Белая кухня после чёрной ванной выглядела более ослепительной, чем всегда, и невыносимо холодной. Содержать её в чистоте удавалось с трудом, но Санька старалась. Она поставила чайник, сняла с полки чайную чашку из немецкого фарфорового сервиза. Чашка была, конечно же, белой и, по Санькиным меркам, чрезвычайно дорогой. Впрочем, ей нравилось смотреть на солнце через тонкие фарфоровые стенки, и тогда чашка приобретала тёплый розоватый оттенок. Но сегодня солнца не было.

И даже чай не согревал. Без Вадима белый цвет вдруг враждебно обступил со всех сторон, заставляя Саньку чувствовать себя маленькой, беспомощной и несчастной. Как когда-то среди белых больничных стен, где умирал отец, почти сливаясь с этими стенами неестественной бледностью лица.

\* \* \*

Саньке было четырнадцать. Она проколола уши и сделала короткую стрижку, которая нравилась ей до безумия.

Поначалу всё казалось совсем не страшным. Сентябрь выдался тёплым и ярким. Санька бегала в больницу два раза в день, приносила этюды и, как всегда, обрушивала на отца гору новостей: где была, что видела, с кем встретилась. Ей тогда нравился Виталька Чумнов, и они собирались в кино в ближайшее воскресенье. Была ли это та самая пресловутая первая любовь, Санька не знала, но что-то внутри сладко ёкало, когда Виталька встречал её у художки, и они шли домой дальней дорогой через запущенный городской парк, прокладывая ходы в ворохе жёлто-коричневых кленовых листьев. Сидя у Павла в ногах на неудобной больничной койке, Санька шёпотом пере-

сказывала отцу свой день, и они улыбались друг другу, потому что были вместе.

А потом ему стало хуже. И вся жизнь вдруг сосредоточилась на маленьком кусочке белого пространства кровати, вместившего в себя худое тело Павла.

Его перевели в реанимацию, и теперь Надежда с Санькой и Лизой уже не видели его, а приходили в определённый час для встречи с врачом. Поначалу Надежда не хотела брать с собой Саньку, но та на слова матери только закусила губу и рванула с вешалки лёгкую куртку. Они заходили в больницу со стороны травмпункта и занимали своё место в небольшой молчаливой очереди у безликой двери врачебного кабинета.

Люди там стояли одни и те же. Маленькая старушка в вылинявшей кофте и аккуратном белом платочке. Коренастый мужчина средних лет и его взрослый сын, оба с небольшими бородками. Грозного вида дама с крупным мясистым носом и низким голосом и её муж, с виду ничем не выдающийся. Со всем молодая ещё пара, всё время держащаяся за руки. И, наконец, женщина в чёрном, приходившая одна. Возраст её трудно было определить, настолько усталым, почти безжизненным казалось лицо.

А вот врачи менялись. С отстранённо-озабоченным видом появлялись они из дверей реанимационного отделения, как можно скорее старались пройти мимо подавшихся вперёд родственников тяжелобольных пациентов и скрывались за дверью кабинета. В его небольшом равнодушно-белом пространстве стояли только стол и несколько стульев. На столе врачебные карты и нашатырь на всякий случай.

В первый день с Надеждой, Санькой и Лизой разговаривал пожилой уса́тый врач. Что-то было в его голосе утешающее и даже ободряющее, хотя он и не сказал ничего сверх обычного в таких случаях: «Состояние стабильно тяжёлое. Мы делаем всё возможное». Очень уж хотелось ему верить, и они вышли из кабинета почти успокоенные.

Молодой доктор в узких очках, с виду почти мальчик, сказал им на следующий день то же самое, но от его слов успоко-

ение почему-то не наступило. Наоборот, Санька почувствовала, что где-то внутри неё нарастает и разливается по телу отчаяние. И, скованные отчаяньем, они с одревеневшими телами и лицами вышли в коридор.

Санька позже старалась не вспоминать эти дни. Предчувствие надвигающегося горя, а потом и само горе как будто вставили в цветную киноленту её жизни чёрно-белые кадры. Чёрные угольные наброски на белых листах в мастерской, сделанные Павлом перед больницей. Чёрный письменный стол, к которому Санька, поняв, что не может работать, прислонилась щекой и застыла в приступе тоски. Белая высокая шапочка и чёрные густые брови докторши, сказавшей им то, что они больше всего боялись услышать. Чёрные буквы на белом листке официальной бумаги, в совокупности означавшие одно короткое слово «смерть». Чёрное платье матери и белые хризантемы, перевитые чёрной ленточкой, на холмике каменистой кладбищенской земли.

Чёрное и белое глаз фиксировал чётко. Чёрно-белые столбики вёрст, по которым продолжала двигаться жизнь. Всё остальное было как будто затянута мутно-серой пеленой. Цвета исчезли. И это напугало Саньку больше всего.

\* \* \*

Она сбежала из кухни, даже не вымыв чашку. Назад к цвету и веселью из мучительных воспоминаний – к радости.

Карнавал буйствовал.

Нарезка из общих планов сменилась изображением трибун, которые не уступали в зрелищности самому шествию. Маски экзотических животных – обезьян, гепардов, бегемотов, – напоминающие о предстоящем чемпионате мира по футболу в Южной Африке, перемежались на все лады растиражированным лицом недавно почившего короля поп-музыки. Повинуясь ритму, человеческое море на трибунах колыхалось и бурлило, казалось, совсем не обращая внимания на арену.

Пёстро. Слишком пёстро, как сказал бы Вадим.

Это были его первые слова полтора года назад, произнесённые над её ухом с удивлённой и чуть насмешливой интонацией.

Снова стоял сентябрь, и Санька ходила с мольбертом к зданию издательства. Не то случайно, не то по замыслу дизайнера-озеленителя деревья и кусты, посаженные по обе стороны от входа, не только образовывали небольшую аллею, полностью скрывая от взора два первых этажа краснокирпичного здания, но и являли собой всю палитру осенних красок, на которую способна природа средней полосы.

Санька ставила мольберт так, чтобы в центре композиции каждый раз оказывался новый объект. Сегодня была рябина. Посмеиваясь над простотой замысла, Санька, тем не менее, с головой погрузилась в работу. Это всегда приносило облегчение, это была приобретённая с годами привычка пережить сентябрь и справиться со страхом.

В те страшные недели после смерти Павла, чтобы не оставлять Надежду и Саньку одних, решили какое-то время пожить все вместе, и Лиза с Олегом поселились в Санькиной комнате, а Санька переехала в мастерскую. Вернее, она оттуда и не уходила с момента похорон. Надежда с Лизой перенесли её вещи, Олег приладил какие-то полки возле двери. Поначалу её не трогали. Суэта с переселением отвлекала от горя. Да и маленький Петя требовал внимания. К концу второго дня, уже в сумерках, Надежда, зашедшая в мастерскую с Санькиной кофтой в руках, машинально включила свет и вздрогнула. Санька сидела в углу дивана с белым лицом и расширенными от ужаса глазами. Надежда бросилась к дочери:

– Сашенька, что?.. Что с тобой?.. Тебе плохо, да?

– Я их не вижу... Мама, я их не вижу...

– Кого?

– Цвета! Я не различаю цвета... совсем... Только чёрный, белый и серый... Всё вокруг серое, серое, серое!

Последние слова Санька уже кричала: у неё началась истерика. На крик сбегалась семья. Надежда с Лизой с двух сторон обнимали заходящуюся в рыданиях девочку, а Олег вызвал «скорую».

Последствия шока, объясняли врачи, особенность психики. Пройдёт со временем. Ребёнок успокоится. Такое горе, что вы хотите... Отвлеките её чем-нибудь, займите.

Санька спала после укола, а Надежда, сидя у неё в ногах на диване, погрузилась в мучительные раздумья. Она так привыкла полагаться на Павла во всём, что касалось душевного состояния младшей дочери, что поначалу растерялась. И рванулась было в их с Павлом спальню, чтобы привычно спросить: «Что делать-то, Паш?». И опустилась на диван, в очередной раз придавленная осознанием потери. И всю эту длинную бессонную ночь, сотни раз оглядывая мастерскую, проплакала и проговорила с мужем, и встретила рассвет с единственно верным решением, которое, она свято верила, ей подсказал Павел.

Олег с утра сбегал в киоск и принёс несколько чёрных гелевых ручек и маркеров. Когда Санька проснулась, мать положила перед ней альбом и сказала только одно слово:

– Работай.

И Санька работала. Две недели она почти не выходила из мастерской, с трудом отвлекаясь на Надежду, которая приносила какую-то еду и открывала форточки, чтобы проветрить комнату. Иногда немели пальцы, державшие ручку, и приходилось прерываться. И тогда организм, как будто очнувшись, гнал Саньку из мастерской, и она краем сознания вбирала в себя жизнь квартиры: Лиза затеяла стирку, Надежда возится на кухне, Петечка играет в прятки с Олегом. Всё это было рядом, за стенкой, и в то же время очень далеко, в мире, где когда-то жили краски. А в её мире теперь были только белые листы и чёрные рисунки на них: отец со смеющимися глазами, сидящий на больничной койке, лица людей в очереди у кабинета врача, Виталька Чумнов, уходящий один по осенней аллее. Когда кончалась ручка, Санька отбрасывала её и тянулась за другой. Так же, не глядя, она смахивала со стола готовый рисунок, чтобы утвердить на его место чистый лист. Судьба законченных работ её не интересовала, важен был только процесс. Рисунки разлетались по мастерской, и Надежда собирала их в папку. Олег каждый вечер приносил домой несколько новых

ручек. Надежда заметила, что они понравились Саньке больше маркеров. А Санька работала.

Однажды (вряд ли это было сделано намеренно, скорее Олег просто не заметил, когда покупал) вместо чёрной ручки Санька начала рисовать синей.

– Чушь какая, синие листья, – сказала Санька сердито, отбросила ручку в сторону и подняла глаза. В красном пластмассовом стакане стояло ещё несколько чёрных ручек, колпачки которых оказались как раз на уровне светло-зелёной обложки второго тома Урсулы Ле Гуин. А выше, над стопкой книг, заглядывали в окно почти голые, уже коричневые ветки клёна с редкими жёлтыми листьями, чуть закрученными на концах. А ещё выше над клёном спало высокое бледно-голубое небо.

\* \* \*

Приступ не повторялся, но всё-таки каждый сентябрь, по мере приближения очередной годовщины смерти отца, Санька, как умела, загружала себя работой. Вот и теперь, будучи уже студенткой третьего курса того же института, который когда-то окончил Павел, она нашла себе занятие и в четвёртый раз стояла у издательства, радуясь многоцветью, возникавшему на листе и как будто охранявшему её от страшных мыслей.

– Как пёстро.

Санька обернулась. Довольно высокий мужчина в тёмном костюме улыбался ей, разглядывая попеременно то рисунок, то саму Саньку.

– А мне нравится, – сказала Санька и вдруг вспомнила. Именно этот мужчина водил их, тогда ещё первокурсников, по издательству и типографии, показывая, как действует система полиграфического производства. А Наташка, соседка по комнате, толкнула Саньку в бок и, томно закатив глаза, довольно громко сказала:

– Ах, вот он – мужчина моей мечты!

Однокурсники вокруг засмеялись, и Наташка, обеда всех обиженным взглядом, картинно упала в обморок на руки Слав-

ке Клюеву. Странно – если бы не Наташкины кривлянья, Санька не стала бы так внимательно рассматривать «экскурсовода». «Обычное лицо, – привычным взором художника охватывая мужчину, думала Санька. – Черты резковаты, взгляд жёсткий, но когда улыбается, глаза как будто теплеют. Пожалуй, как модель для наброска не особо интересен».

Всю экскурсию Наташка старательно вздыхала, а выйдя из типографии, тут же забыла о мужчине своей мечты, страстно включившись в обсуждение, в какую бы кафешку намылиться после занятий.

Санька, вспомнив об этом, заулыбалась.

– Не надоедает на одном и том же месте? Да не пугайтесь, вы стоите под моими окнами. Так что я смотрю на вас уже четвёртый день, – увидев Санькино замешательство, мужчина заулыбался ещё шире.

– Я не пугаюсь. Я знаю, что вы здесь работаете. Вы для нас два года назад экскурсию проводили. А место мне нравится: редкие цветовые сочетания. И потом, четыре дня – это четыре разных рисунка.

– Интересно взглянуть.

– Хотите, я завтра принесу папку? Я завтра ещё приду.

– Хочу. Приходите и приносите. Буду ждать вас у окна.

И мужчина протянул Саньке руку:

– Старыгин Вадим Антонович.

– А-а... Александра, – Санька снова несколько растерялась, но потом тоже подала руку.

– Какое серьёзное имя. Слишком тяжеловесное. Вас должны звать как-то легче, нежнее. Сашенька, может быть? Или нет... Санька?

\* \* \*

Санькой её называл отец. Всегда, с самого рождения. Она принимала и мягкое Надеждино «Сашенька», и язвительное Лизино «Шурочка», и официальное «Александра Павловна», но для себя была Санькой. Для себя и для отца.

«Как он угадал? – думала она о новом знакомом, лёжа ночью на узкой общежитской кровати. – Высокий. В костюме. Взрослый... Ва-дим. Короткое имя. Цельное. Ему подходит... Старыгин Вадим Антонович. Жёлтый, коричневый и белый. Хорошее сочетание...»

Мир взрослых людей в костюмах был настолько далёк от Саньки, что она даже не замечала их в толпе. Человек всегда из множества людей выделяет либо созвучных себе, либо звучащих диссонансом. Остальные проходят серой массой на периферии сознания. Когда Санька приехала поступать из маленького промышленного Новозаводска в крупный региональный центр, количество мужчин в костюмах на улицах города её удивило. Но и только. Что-то было в них во всех такое – может быть, сосредоточенное и напряжённое выражение лиц, – что лишало их, вкуче с костюмами, индивидуальности. И Санька очень быстро перестала обращать на них внимание, они были ей неинтересны.

И мимо Вадима она прошла бы так же равнодушно, если бы жизнь не столкнула их во второй раз.

Только теперь, полтора года спустя, сидя на диване перед мельтешащим телевизором, Санька вдруг осознала, как быстро, уверенно и властно Вадим взял в руки её жизнь.

Сначала они просто гуляли. Весь конец сентября и начало октября были тёплыми. Вадим оставлял машину недалеко от институтского общежития, забирал у Саньки папку с рисунками, и они шли к дендропарку, любимому пристанищу мамаш с колясками разных мастей и глубоко пожилых супружеских пар.

От фонтана сворачивали налево и доходили до скамейки с чугунной узорчатой спинкой. Дорожка в этом месте делала поворот и заканчивалась, и скамейка была скрыта от посторонних глаз рядами голубых елей и кустами, названия которых Санька не помнила, но почему-то знала, что цветут они в начале лета. Вадим устраивался в левом углу скамьи, оставляя Саньке большую часть пространства, рассматривал рисунки, спрашивал. Санька рассказывала, увлекалась, забиралась с ногами на скамейку, размахивала руками и даже ненароком наваливалась Вадиму на плечо, укаывая на какую-нибудь деталь, и совершенно не смущалась этим.



Впервые за много лет у неё был собеседник, заинтересованный и в ней самой, и в том, что она считала главным, – в её работе.

А работала Санька много. После смерти отца она не переставала равнять по нему свою жизнь, и не работать было всё равно что предать его память. Иногда со свойственной подросткам категоричностью Санька думала, что она единственная в семье, кто вспоминает Павла и тоскует о нём. Надежда была занята внуком: Петечку нужно было водить и встречать из школы, кормить, делать с ним уроки. Лиза какое-то время ходила по городу в поисках работы, правда, делала это не очень активно и с явной неохотой, а потом объявила, что ждёт второго ребёнка, и вопрос работы отпал сам собой. Олег был доволен. О том, что пожить вместе собирались временно, все как-то подзабыли. Места хватало, жили дружно, и Олег, в конце концов, сдал их с Лизой однокомнатную квартиру на долгий срок сослуживцу, который окончательно ушёл от жены и теперь намеревался заново устраивать личную жизнь.

Лиза родила мальчика, и Олег тут же заявил: ребёнок будет Павликом, и это не обсуждается. Надежда заплакала. А Саньке вдруг стало стыдно, что она так плохо думала о своей семье. И, скрывая смущение, она бросилась утешать мать. Через минуту ревели обе, а вокруг них суетился Олег, совершенно не представляя, как реагировать на столь бурное проявление то ли радости, то ли чего-то ещё.

Жизни в доме прибавилось, и Санька не без удовольствия включилась в кутерьму с кормлениями, гуляниями и купаниями. И всё-таки, возвращаясь в мастерскую, она почти физически ощущала себя пустым аквариумом без дна. Прозрачной, ненаполняемой пустотой. И чем невыносимее становилось ощущение бесконечно пустого пространства внутри, тем больше она желала его наполнить.

Рисунки и книги. Книги и рисунки. Она стала сосредоточенной и отрешённой. Сверстники её сторонились: слишком серьёзна. Она их не замечала: поверхностны и неразвиты. Преподаватели художки ею гордились и посылали работы на многочисленные конкурсы.

Виталька Чумнов ушёл в прошлое, и Санька вспоминала о его существовании только при встречах в школьных коридорах. А её пробудившуюся женственность, как летнюю ягоду, точно засунули в морозилку на неопределённое время.

В институте Санька немного оттаяла. И разнородная, но живущая одними интересами институтская компания, и шепутная Наташка, соседка по комнате, и начало самостоятельной жизни в большом городе вдали от дома – всё волновало и радовало, но аквариум был скорее пуст, чем полон. Более опытная в сердечных делах Наташка вытаскивала её с собой на вечеринки, учила знакомиться с мальчиками и флиртовать. Санька смущалась и отбивалась как умела.

На втором курсе её поцеловал Славка Клюев. Они после выставки компанией завалились в клуб, сдвинули два стола и, насобирав денег, заказали коктейли. Наташка тут же ухватила за руку Макса Иванова, плотного однокурсника азиатской внешности, и умчалась на танцпол. Санька сидела за столом, задумчиво потягивая коктейль, и работала. То есть вспоминала только что увиденную выставку, оценивала отдельные картины, экспозицию в целом. Ей нравилось, подбирая слова, чётко оформлять свою точку зрения. Так когда-то учил отец.

– Ты – художник, – говорил он, – а значит, должна иметь своё мнение по поводу картин, спектаклей, фильмов, пусть даже оно отличается от мнения окружающих. И не мямли, говори внятно!

Начался «медляк», и кто-то дотронулся до её плеча. Санька подняла глаза: Славка Клюев, вечный раздолбай в драных джинсах и один из лучших студентов курса, приглашал на танец. Танцевать она не отказывалась, но и не выкладывалась до конца. Двигалась скорее механически, продолжая размышлять. Славка дышал над ухом, оберегая, мягко уводил в сторону от других танцующих пар и всё сильнее прижимал Саньку к себе. А когда закончилась композиция, ткнулся губами куда-то вбок, в уголок Санькиных губ. И встретил такой недоумённый взгляд, что тут же смешался, пробормотал что-то невнятное и отвёл девушку на место. И весь вечер старался не встречаться с ней глазами.

А Санька отреагировала очень спокойно. Вернее никак. На шуточки и подколки Наташки, от наблюдательного взгляда которой не укрылось сие знаменательное событие, она только пожимала плечами. А через несколько дней Славка всё так же сидел рядом в аудитории, занимал для всех очередь в столовке и радостно утаскивал половину котлеты с Санькиной тарелки.

Ровесники были ровесниками, взрослые – взрослыми, а единственным мужчиной в жизни Саньки оставался отец.

\* \* \*

Вадиму Антоновичу Старыгину шёл тридцать первый год. В издательстве он занимался производственными вопросами и активно двигался по служебной лестнице. Жил в недавно отремонтированной трёхкомнатной квартире, водил чёрный «лексус» и одевался в строгие костюмы, качество которых год от года становилось лучше, а брэнд – известней.

Теперь, согласно личному жизненному плану, Вадиму нужно было найти спутницу жизни и мать будущих детей. Его ровесницы к тому времени были уже глубоко замужними дамами, а некоторые – и не один раз. Те же, кто до сих пор не вкусил прелестей брака, и «разведёнки» с детьми так жадно клацали зубами в его сторону, что Вадиму иной раз приходилось спасаться бегством, буквально выдирая из цепких женских лапок полы своего итальянского пиджака. Роль жертвы его бесила, ему хотелось завоёвывать.

Приятель из среды «дорогих костюмов» представляли его своим младшим сёстрам. Девушки манерно скучали, капризно дули губки и собирались тратить своё драгоценное внимание исключительно на нефтяных магнатов.

Случайные знакомые в барах и клубах были очаровательны, грациозны и податливы. Вадим привозил их к себе, с удовольствием убеждал в своей мужской состоятельности и галантно отвозил по адресу, который разомлевшие от его объятий девушки произносили чуть слышным шёпотом. И не перезванивал. Он искал.

В тот сентябрьский день послеобеденное совещание затянулось. Обсуждалось развитие производства, введение в строй нового оборудования.

По всему выходило, что не удастся уложиться в сроки. Московские хозяева нервничали и в выражениях не стеснялись. Дирекция отстреливалась. Вадим подносил снаряды.

Из зала заседаний он вышел взмыленный, как питбуль после драки. Швырнул бумаги на стол в своём кабинете, чуть ослабил галстук, задержался у окна. Девочка снова была здесь. Уже четвёртый день она приходила в одно и то же время, ближе к концу рабочего дня, устанавливала мольберт и что-то сосредоточенно чиркала на листе, не обращая внимания на выходивших из здания людей. Вадим несколько раз порывался подойти после работы и посмотреть, что там малюет эта пигалица (лет тринадцать, не больше!), но всегда что-то мешало. И он вспоминал о девчонке только на следующий день, когда снова наткнулся глазами на её яркую ветровку. И удивлялся: надо же, опять стоит.

Захотелось на воздух. Вадим вышел из здания и неторопливо направился к маленькой художнице. Она, погружённая в работу, никого не замечала, и он смог рассмотреть её внимательно. Она оказалась старше, чем он предполагал. Не девочка, а уже вполне оформившаяся девушка, среднего роста, стройная, но без болезненной худобы. Чистое лицо, никакой косметики, серо-зелёные глаза, тёмные волосы, свисающие рваными прядями. Одетая девушка была как подросток, что поначалу и ввело Вадима в заблуждение: светлые голубые джинсы с лохматыми заплатками, оранжевая ветровка, усеянная изображениями ухмыляющихся кошачьих рож, небрежно зашнурованные кеды с ядовито-зелёным шнурком на левой ноге и розовым – на правой.

Шнурки Вадима развеселили. Улыбаясь, он перешагнул бордюр, прошёлся по листьям, почти закрывшим пожухлую траву газона, остановился у девушки за спиной. С листа, на котором уже не осталось белого цвета, на Вадима брызнула осень: сочные жёлтые, алые, бордовые листья, освещённые вечерним, но ещё ярким солнцем, и оранжевые гроздья рябины с упругими, как будто выпуклыми ягодками. Привычные глазу краски,

сконцентрированные на ограниченном пространстве листа, ослепили, и Вадим на мгновение даже зажмурился. А когда открыл глаза, неожиданно для самого себя произнёс, имея в виду и девушку, и рисунок, и всё сразу:

– Как пёстро...

Они договорились встретиться завтра, и Вадим, всё ещё улыбаясь, зашагал к зданию. Он и сам не знал, зачем попросил её принести рисунки. Что-то в облике девушки не давало ему покоя, что-то неуловимо близкое было в ней, хотя Вадим мог поклясться, что раньше они не были знакомы. Смешно предполагать, что он запомнил её во время экскурсии. Сколько их уже было, этих экскурсий. И всё-таки по дороге в кабинет он настойчиво терзал память вопросом: «Откуда я её знаю?».

– Вадим Антонович, можно я сегодня пораньше уйду? У мамы день рождения.

– Да, Леночка, хорошо.

Ма-а-ма! Ну конечно! Застенчиво, беззащитно, доверчиво, снизу вверх...

Так сегодня смотрела на него эта смешная девочка.

Так всегда смотрела на Вадима его мама.

\* \* \*

Отца Вадим не помнил. Где-то в том же городе, по тем же улицам ходил человек, давший ему жизнь, но Вадим никогда не думал об отце, как о родном. Он вообще о нём не думал и только посмеивался над словами матери, что мальчику в детстве, наверное, нужна твёрдая рука.

Мама не умела быть твёрдой. Она и мамой-то быть не очень умела. Лучше всего у неё получалось быть маленькой испуганной девочкой.

Как они, двое маленьких детей, дожили до его восьми лет, оставалось загадкой. Но именно с этого возраста Вадим почувствовал себя более взрослым и самостоятельным, и роль главы семьи, до сего момента, похоже, так никому и не принадлежавшая, прочно закрепилась за ним.

Он закупал продукты, помнил про коммунальные платежи и носил обувь в ремонт, потому что на новую денег привычно не хватало. В их небольшой квартирке постоянно что-то отваливалось, рушилось и прорывалось. Он пропускал школу, чтобы дождаться слесарей, и криво, как умел, вбивал в стенку гвозди.

Мама вела уроки музлитературы и преклонялась перед композиторами, с каждым из которых у неё были сложные личные взаимоотношения. Тот факт, что Бах и Моцарт, Чайковский и Прокофьев, и прочая, и прочая давно умерли, её совершенно не смущал. Истории из жизни повелителей нот преподносились маленькому Вадиму вместо семейных преданий, а их портреты были знакомы ему, как другим детям фотографии дальних и близких родственников из домашнего альбома. Мама, гордясь нелёгкой победой над собственным ханжеством, самоотверженно прощала своим любимцам и милые странности, и тяжкие пороки, говорить о которых вслух считалось дурным тоном. Так в семьях хранят от посторонних ушей секреты пьющей тётки Гали из Симферополя или троюродного брата Славика, отсидевшего по «нехорошей» статье.

– Главное – музыка, которую они писали! – восклицала мама, патетично вспыхивая румянцем в ответ на некоторые ехидные высказывания подросткового Вадима, и роняла на пол ложку. В кастрюльке тут же фыркало и убежало нечто, притворявшееся супом. Вадим аккуратно усаживал маму на табуретку и вставал к плите. Уловка всегда срабатывала, позволяя превратить ужин в более или менее съедобный.

К восьмому классу Вадим уже хорошо представлял, какой он хочет видеть свою взрослую жизнь. Ничего сверхъестественного. Всего лишь то, что укладывалось в рамки нормы: достойная работа и полноценная семья. Он будет жить так, как считает правильным сам, думал он, выбирая, какой из двух заштопанных им же свитеров выглядит менее потрёпанным для школьной дискотеки.

И если красавица и умница жена с парочкой симпатичных детишек пребывали в весьма отдалённой перспективе, то о профессии стоило задуматься уже сейчас. Никаких особых

склонностей к той или иной области Вадим в себе не наблюдал. Учился он хорошо и ровно по всем предметам. И будущую профессию собирался искать вполне сознательно. Но тут в дело вмешался случай.

В начале лета вместо бестолковой школьной отработки Вадим решил найти что-нибудь посерьёзней, на все каникулы и с зарплатой. Работа отыскалась недалеко от дома, в типографии бывшего регионального издательства. Пару лет назад, отправив на давно заслуженную пенсию предыдущего директора и удачно поймав момент, несколько предприимчивых молодых людей заручились поддержкой криминального авторитета Сенегиала, выкупили издательство у государства и превратили в региональный филиал одного из крупнейших московских издательских домов.

Вадим оформился в отделе кадров, спустился со второго этажа, толкнул массивную деревянную дверь с тяжёлой литой ручкой и вышел из центрального здания. Газоны у входа недавно расширили, вырубili привычные глазу старые тополя и карагачи и высадили на их месте дрожащие на лёгком летнем ветру тощие берёзки, рябины и декоративные яблоньки, а сами газоны засеяли респектабельного вида изумрудной английской травкой, говорившей миру: «Теперь всё по-новому!».

За травяной волной, на приколе бордюра, дремало несколько иномарок. Просто пройти мимо было выше его сил, и Вадим, медленно обогнув весь ряд, задержался у крайнего серебристого «мерседеса». Пока он, дыша через раз, разглядывал салон автомобиля сквозь боковые стёкла, из дверей издательства вышли четверо мужчин. Это были они, новые хозяева. Облачённые в светло-серые костюмы небожители прошли по дорожке, уселись в машины, небрежно захлопнули дверцы своих «тойот» и «мерсов» и укатили на запад, оставив за спиной пятнадцатилетнего подростка в застиранной футболке и кедах на босу ногу.

— Это стало началом Большого Пути, — усмехался потом Вадим, рассказывая Саньке, как он выбирал профессию. — Они меня поразили, эти четверо. Было в их лицах что-то такое... Они как будто говорили: «Мы сами — хозяева своей жизни!». Мне даже

сниться стало, как открывается дверь издательства, и выхожу я, весь такой в костюме. И иду по дорожке к своей машине. Прямо навязчивая идея. Главное, все наши собирались кто в юристы, кто в экономисты, а меня как заклинило – иду в полиграфический.

И всё сложилось. Новые хозяева сохранили техникум при издательстве, и поступить в него можно было сразу после девятого класса. А техникум, в свою очередь, гарантировал трудоустройство, чем тогда, в нестабильные девяностые, могло похвастаться далеко не каждое учебное заведение. Вадим после занятий продолжал подрабатывать в типографии и к концу обучения превратился в опытного специалиста печатного производства. Ему действительно нравилось всё то, что в советских книжках называлось производственной романтикой, – и шум станков, и запах типографской краски.

\* \* \*

Вторым шагом на пути к цели стала армия. С детства лишённый отцовского общества, Вадим доверял в таких вопросах расхожим клише и был убеждён, что только армия сделает из него настоящего мужчину. Работники типографии, многим из которых он годился в сыновья, укрепляли его в этом мнении и охотно травили байки из своего армейского прошлого, которые Вадим слушал с жадным вниманием.

Самым сложным оказалось убедить маму в правильности такого шага. При слове «армия» глаза её наполнялись слезами, и, сдерживая рыдания, она начинала предлагать планы, соперничающие друг с другом в нелепости, по освобождению ребёнка от «всего этого ужаса». Отступать Вадим не собирался, но и оставить слабую, беспомощную маму одну не мог. И тогда в доме появилась «мамина подруга».

Бойкая и деловитая татарка Роза, новоиспечённая пенсионерка, жила в угловом подъезде. Она была бездетна и уже очень давно одинока. Ей, второй месяц маявшейся от пенсионного безделья, предложение Вадима пришлось по душе. Поначалу она, конечно, испугалась, когда во дворе её окликнул высокий



широкоплечий парень и попросил уделить ему внимание. Но спустя час они уже заканчивали обсуждать детали взаимовыгодной сделки. Роза получала уникальную возможность убить время, при этом сознавая благородную цель своей миссии, а также становилась счастливой обладательницей видеомэганитофона и десятка кассет с индийскими фильмами. У мамы Вадима, в свою очередь, появлялась подруга с неисчерпаемым запасом внимания и заботы, исподволь следящая за настроением, питанием и другими проявлениями жизни своей подопечной.

Уже вечером Роза позвонила в дверь их квартиры под каким-то незначительным предлогом, осталась на чай, любезно предложенный Вадимом, и после третьей чашки пригласила Милочку («можно я буду вас так называть?») посетить только что открывшийся торговый центр. Мама, как всегда, прежде чем согласиться, нашла глазами Вадима, и он кивнул ей как можно убедительнее.

Армия, опытный имиджмейкер, отсекала всё ненужное, оставив и выделив главное – властность и трезвый расчёт.

Двухгодичная инициация включила в себя и сексуальный опыт. В первый раз всё произошло неожиданно. Увольнительная заканчивалась. Парочка первогодков, с трудом нащупывая в темноте ступеньки, спустилась в полуподвальное помещение с претенциозным названием «Тайна Востока». При чём здесь Восток, и какая у него тайна, Вадим так и не понял. Заведение было довольно обшарпанным и требовало ремонта. Бар и стойка по периметру с высокими стульчиками оставляли большую часть пространства для танцующих. Свет был приглушён, музыка перекрывала все допустимые пределы громкости и превращала голову в пустой гулкий колокол. Однако выбирать не приходилось. Болтаться по чужому заснеженному городу ещё два часа не хотелось совершенно. Ну не в казарму же возвращаться раньше времени. Вадим разочарованно подумал, что ожидание, как обычно, острее самой свободы, но тело уже вбирало долгожданное тепло, а глаза скользили по движущимся в танце силуэтам, задерживаясь на особо выразительных выпуклостях женских фигур. Просто стоять и таращиться было глупо. Вадим увидел, как Витёк Яховицкий, белобрысый сосед с нижней кой-

ки, заворачивает рукава гимнастёрки на манер летней формы, последовал его примеру, и через несколько минут они уже двигались в толпе, подчиняя тело и разум пульсирующему ритму.

Минут через сорок взмокший в душном помещении Вадим готов был бежать на мороз, но благоразумие взяло верх: он вышел из основного зала и свернул по узкому коридорчику в сторону подсобных помещений. Музыка и здесь заглушала все остальные звуки, но ударные колотили в голову не так яростно, и откуда-то из-под дверей шла волна холодного свежего воздуха. Коридорчик кончался закутком, заставленным стройматериалами и мешками с цементом. Закуток оказался обитаемым. Из-за мешков вдруг просочились две девицы и нетвёрдым шагом прошествовали мимо Вадима. Он проводил их взглядом и заинтересованно стал протискиваться между мешками и стенкой. Там оказалось достаточно места для нескольких рассохшихся стульев и ободранного диванчика, в углу которого сидела ещё одна девица. Света, проникавшего сюда из коридора, было недостаточно, чтобы хорошо её разглядеть, но Вадим смог заметить, что глаза девушки были прикрыты. Он наклонился к самому её лицу, уловив запах спиртного.

– Эй, тебе плохо? – спросил он громко, пытаясь перекрыть музыку.

Девица что-то бормотнула в ответ, открыла глаза и вдруг неожиданно резко дёрнула его на себя.

Говорят, мужчины всегда помнят первую женщину. У Вадима в памяти остался только синтетический привкус земляничной помады на губах. Разрядка произошла слишком быстро, он почти ничего не успел почувствовать. Отвалился в сторону, дожидаясь, когда бешено колотящееся где-то под горлом сердце вернётся на своё место, привёл в порядок одежду. Девица снова отключилась. Вадим, суетливо оглядываясь на мешки, попытался одновременно натянуть на неё колготки и одёрнуть тесную джинсовую юбку. Получалось плохо, руки дрожали. Добившись, наконец, относительно приемлемого результата, ошеломлённый Вадим выбрался из закутка и отправился искать Витька. Пора было возвращаться в часть.

Первый опыт, несмотря на всю неоднозначность ситуации, тем не менее, поселил в нём уверенность в обращении с противоположным полом, а навыки со временем были доведены до блеска.

В конечном итоге армия принесла ему две необходимые для успешной жизни составляющие: уважение мужчин и благосклонность женщин.

\* \* \*

Качественный скачок в карьере произошёл в двадцать семь, когда его пригласили в центральное здание издательства и предложили должность. К переходу из рабочего класса в управленцы Вадим готов был давно: опыт работы на производстве, диплом заочного отделения Московской академии печати, инициативность и амбиции.

Ему очертили круг обязанностей и предоставили кабинет.

Из окна кабинета были видны разросшиеся за годы его вхождения в полиграфию деревья перед входом в издательство и дорожка между ними. Вадим долго стоял у окна, привыкая к ощущениям. Ликования не было. Было усталое удовлетворение от трудной, но честно заслуженной победы. И ещё досада на мать, на её вечное недомогание, сводившее на нет всю радость.

Мама чахла. Именно это слово выплывало откуда-то из глубин памяти, когда Вадим смотрел на её прозрачные ручки и тонкую шейку в вороте домашнего халата, ставшего неожиданно широким. Мама худела, бледнела, слабела. Много лежала и почти перестала выходить на улицу. Она всё больше напоминала игрушку, у которой кончается завод.

– Что у тебя болит? – рассерженным голосом, чтобы не выдать растерянность, спрашивал Вадим.

– Ничего. Ничего не болит, правда, – смущённо и испуганно отвечала мама и слабо улыбалась.

И даже приход всегда шумной Розы не вносил должного оживления. Мама слушала подругу рассеянно, устало прикрывала глаза.

Умерла она тихо, во сне, всё с тем же выражением маленькой испуганной девочки на лице.

В новую квартиру Вадим переезжал уже один.

Издательство работало стабильно, зарплаты служащих росли. Теперь он был вполне обеспеченным человеком, хотя и далеко не богатым. Но мысль, что ему доступно многое, то, о чём раньше можно было только мечтать, становилась для Вадима привычной.

До совершенства оставалось всего несколько шагов. Стоило заняться деталями: ничего лишнего, пёстрого, разномастного – ни в облике, ни в жилище. Чистые линии, холодные цвета. Минимум вещей, говорящих о достатке хозяина. Ничего, что могло бы напомнить о безалаберном полунищем детстве.

Плюс отработанная, строго дозированная подача власти и обаяния и необходимая сумма знаний для общения с новыми приятелями.

Он выходил из издательства в компании таких же недёшево одетых мужчин, поддерживая трёп о футболе, автомобилях и киноновинках. Его собственная иномарка стояла пятой с краю в сверкающем ряду дорогих машин. В нескольких престижных клубах он был постоянным клиентом, а девушки легко соглашались на предложение прокатиться по ночному городу. Ему нравилось, повязывая галстук, видеть на лице в зеркале то самое выражение хозяина своей жизни.

Иногда, минуя клубы, он сразу ехал домой. После напряжённого рабочего дня чистая холодность стен успокаивала, умиротворяла. Однажды пришла мысль, что мама с её любовью к коробочкам, тесёмочкам и бантикам смотрелась бы в этой квартире инородным существом.

И всё-таки он скучал по ней, по её доверчивому и восхищённому взгляду. И значительная часть его жизни, посвящённая заботам о матери, теперь вдруг стала напоминать ещё одну пустую комнату в доме, которая кажется бесполезной, пока хозяева не найдут ей нового применения.

\* \* \*

Если Санька затруднялась ответить на вопрос, когда Вадим стал для неё не просто знакомым, то сам он точно знал день, определивший его и её судьбу.

Они более или менее регулярно встречались уже больше месяца, чаще всего просиживая вечера на скамейке парка. Иногда, спасаясь от дождя, забегали в недорогое кафе или пиццерию. Вадим старался выбирать такие заведения, где Санька не чувствовала бы себя скованно.

Однозначно определить их отношения на тот момент было сложно: не любовь, но и не совсем дружба. Скорее это походило на взаимозаполнение пустот.

Он уже многое знал о ней. Что ей скоро девятнадцать (его циничное, но пока ещё отстранённое хмыканье про себя: «Уже можно»). Что больше всего на свете она любит рисовать и папу (ещё одно хмыканье). Что папа умер в сентябре четыре года назад. Что в Новозаводске у неё остались мама, сестра и племянники. Что она увлечена карнавалами. Что разработала эскизы костюмов для спектакля Новозаводского молодёжного театра. Что обязательно съездит в Венецию. Что предпочитает сливочное мороженое с ягодным сиропом, но без орехов...

Он был опытен и мудр, она – открыта и доверчива.

Он, рассматривая рисунки, плавно переводил разговор от техники и манеры исполнения на её семью, учёбу, интересы. Она таяла от его внимания.

Он купался в подзабытом уже со смерти матери ощущении снисходительного покровительства. Она смотрела на него снизу вверх и улыбалась смущённо.

Его забавляла эта игра во Взрослого Дядю и Маленькую Девочку. А вот она, кажется, уже не играла.

Они зашли в торговый центр «Гранд», спасаясь от мелкого октябрьского дождя. Погода окончательно испортилась, и сидеть в парке уже не хотелось.

В кафетерии на третьем этаже было слишкомлюдно. Вадим остановился, выискивая глазами свободный столик, но

Санька потянула его дальше, к недавно открытому в одном из павильонов кинотеатру.

– «Мадагаскар – 2»? А был «Мадагаскар – 1»?

– Ну конечно, я ещё дома смотрела.

– А разве серьёзные девочки смотрят мультики?

– И не надо смеяться! Это очень интересно! У нас в художке даже спецкурс был по анимации.

– А-а, так ты смотришь мультфильмы исключительно с профессиональной точки зрения. И сюжет тебя совсем-совсем не интересует?

– Меня всё интересует. Мы идём?

Минут десять Вадим глядел на экран, честно стараясь вникнуть в происходящее. Но день на работе выдался хлопотный, да и погода не радовала, и он позволил себе усесться поудобней, чуть съехав по мягкому сидению, и на несколько секунд закрыть глаза.

– Вадим, Вадим, сеанс закончился! – раздалось над ухом, и он почувствовал, как кто-то трясёт его за руку. Несколько секунд приходил в себя, сонно моргая глазами (так, экран, кинотеатр, Санька...) и соображая, что сполз по сидению вбок, и теперь его голова лежит на Санькином плече. Она отдернула руку и поспешно отодвинулась от него. Вадим усмехнулся, потянулся и проснулся окончательно. Она уже вскочила и стояла около кресел, отвернувшись к экрану и сосредоточенно разглядывая титры.

Вадим тоже поднялся, он чувствовал себя отдохнувшим.

– И давно я уснул?

– Почти в самом начале.

– Спасибо, добрая девочка, что охраняла мой сон.

– Да, пожалуйста, обращайтесь.

Они вышли из зала, и Вадим с удивлением обнаружил, что сам он считает ситуацию вполне естественной, а вот Санька сильно смущена. Не огорчена, не рассержена, не нарочито обижена, как дали бы ему понять другие девушки, а именно смущена.

Над всем этим стоило подумать. А пока он повёл её в кафе, задал дежурный вопрос о роли художника в компьютерной ани-

мации и с удовольствием начал наблюдать, как девушка, увлекаясь рассказом, перестаёт краснеть и отводить взгляд.

Итак, он уснул практически на свидании, хотя они не называли так свои встречи, а Санька его не потревожила, не рассердилась и даже была смущена. Чем же она смущена? Очевидно, если брать во внимание её влюблённость в него (а в этом он отдавал себе отчёт), а также молодость и неопытность, смущена она его близостью. До сегодняшнего дня они никогда так близко не соприкасались друг с другом.

И что же чувствует он по этому поводу? Ну, пожалуй, он доволен: пробудить волнение в женщине, просто склонив голову на её плечо, чего-нибудь да стоит!

И ещё – ни с кем, кроме мамы, он не мог позволить себе быть настолько спокойным и расслабленным. С девочкой ему комфортно – что есть, то есть. Уснуть в её присутствии означало для Вадима высшую степень доверия. И с этого момента всё становилось очень серьёзно.

Поздно вечером Вадим (как это говорилось в любимых маминых романах) предался размышлениям.

Что мы имеем?

Она умна, и с ней не скучно.

Она привлекательна. А если убрать подростковые одёжки и сводить в приличную парикмахерскую, будет просто красавицей.

Он готов поспорить, что она невинна (боже, слово-то какое!), в отличие от многих своих ровесниц. И это скорее плюс, чем минус. Быть для неё первым, научить её искусству любви, привести к вершинам блаженства и т.д. и т.п. Короче, весь стандартный набор удовольствий для мужчины, который, уж поверьте, кое-что знает о сексе. И потом, как одноразовая любовница она не интересна, зато в перспективе...

Она довольно крепка и здорова на вид, а значит, можно надеяться на здоровых детей.

Она не корыстна, не требует дорогих подарков и, кажется, до сих пор не знает марки его машины.

Родственники её далеко, и потому всё внимание будет принадлежать только ему.

Она слишком увлечена работой и учёбой. Ну так ведь и он ещё не предъявил на неё своих прав.

Что ж, Вадим Антонович, похоже, вы нашли то, что искали! И впереди вас ждёт занятная игра с прогнозируемым выигрышем!

\* \* \*

Действовать следовало аккуратно, но решительно. Необходимо превратить её влюблённость в зависимость. Он не торопил события, он мягко подталкивал их к логическому разрешению, поскольку для него самого всё уже было определено.

Они по-прежнему много гуляли, если позволяла погода, и всё чаще он брал её за руку, продолжая изображать из себя доброго взрослого друга. Она вздрагивала и терялась, но руку не вырывала.

Он помогал ей в кафе надеть куртку, и несколько дольше, чем было необходимо, задерживал руки на её плечах.

Он подвозил её до общежития и подавал руку, когда она неловко выходила из машины. При этом вставал так близко от дверцы, что девушка, очутившись на улице, просто впечатывалась в него всем телом.

Теперь он больше говорил сам. Рассказывал ей о своей жизни с подробностями, которые доверяют только очень близким людям. Санька была потрясена. Он, такой взрослый, открывает ей душу и говорит, что больше никому не смог бы всего этого рассказать, что для него это важно. И смотрит так пристально. И у неё начинает кружиться голова.

Он...

Санька уже не помнила то время, когда Вадим казался ей обыкновенным и далёким. Она вращалась в него, наполнялась им до краёв. Два месяца назад они даже не были знакомы? Не может быть!

Каждую ночь перед сном она перебирала в памяти его слова, жесты, взгляды. «Я его...» – и не решалась произнести. Слишком большое слово, слишком сильное. И хотелось немного



продлить эту неопределённость и задержаться ещё на поверхности, прежде чем волна накроет с головой.

Вадим чувствовал, что пришло время для следующего шага: пора подарить девочке первый поцелуй.

Они шли к автомобильной стоянке через сквер после выставки в частной галерее «Сириус-Арт». Был вечер, горели круглые жёлтые фонари, медленно падал снег, исчезая на блестящем в их свете асфальте.

«Антуражно!» – подумал Вадим и взял Саньку за руку.

Она, до этого объяснявшая особенности размещения полотна в относительно небольшом выставочном пространстве, сбилась с мысли. Какое-то время они шли молча. Наконец он остановился, развернул её к себе, положил руки на плечи. Санька смотрела на него снизу вверх, на лицо её ложились снежинки, мгновенно таяли и превращались в капельки. Он наклонился, едва касаясь, прошёлся губами по этим капелькам на лбу и на щеках, так же легко коснулся губ. Отстранился на мгновение, насладившись её одновременно испуганным и радостным взглядом, смеясь, притянул к себе и поцеловал уже по-настоящему.

Да, игра доставляла ему гораздо большее удовольствие, чем можно было предположить вначале.

Так же молча, но уже обнявшись, они вышли из сквера и сели в машину. Слова будут сказаны позже, в своё время, а пока Вадим давал Саньке прийти в себя. И только у дверей общежития он снова притянул её к себе и поцеловал, подтверждая, что всё произошедшее – не случайность, и закрепляя, так сказать, эффект.

Теперь он обнимал и целовал её постоянно, при каждом удобном случае, не переходя, однако, границы девичьей стыдливости. Ему нравилось наблюдать, как она дрожит в ожидании его прикосновений, как старается теснее прижаться, как раз от разу становится смелее и позволяет ему всё более и более откровенные ласки.

Шестым чувством Вадим всегда знал момент, когда надо остановиться, чтобы осталось ощущение недосказанности,

делавшее острее желание новой встречи. Иногда он звонил ей на мобильный, ссылаясь на неотложные дела и расчетливо пропадал на один-два дня. И тогда Санька вся превращалась в ожидание и нетерпение. Ей уже мало было просто знать, что он есть. С того самого дня в кинотеатре, когда они впервые были так близко и он, склонив голову на её плечо, ожёг дыханием её щеку, ей стало мучительно необходимо чувствовать его рядом.

Однажды он почти сорвался. Было воскресенье. Декабрь только что перевалил за середину, и предновогодняя истерия набирала обороты. В пятницу в конце рабочего дня выяснилось, что типография запорола крупную партию календарей для трубной корпорации. И все выходные Вадим был занят, лично отслеживая производственный процесс.

Санька провела день на катке с однокурсниками и теперь ждала его на ступеньках ледового дворца. Наташка изображала «ту селёдку в красном костюме, которая думает, что умеет кататься на коньках». А Славка Клюев, надев на нос воображаемое пенсне и выпятив живот, уже пятый раз изрекал в её сторону всё более гнусавым голосом: «Ах, мадам, вы двигаетесь исключительно!». Наташка опускала глаза и бормотала: «Ну что вы, право, не стоит». Санька смеялась вовсю, не забывая поглядывать на подъезжающие машины. Увидев Вадима, она махнула друзьям и сбежала со ступенек.

– Пока! До завтра! – крикнул ей вслед Славка.

И она, обернувшись, махнула ему ещё раз:

– Пока!

Вадим чувствовал себя уставшим и измотанным. Он видел, как она смеялась там, на ступеньках, лёгкая, свободная, радостная. Как её весело окликнул растрёпанный, похожий на тощего воробья парнишка. И она так же радостно обернулась и что-то ответила ему. И Вадим, стоя в чёрном пальто у дорогой чёрной машины, вдруг показался себе старым, тяжёлым и скучным, как чугунный бюст Баха в маминой музыкальной школе. И разозлился на весь свет и на беспечных, не знающих жизни молокососов, покусившихся на то, что должно было принадлежать только ему.

Он заглушил двигатель где-то в глухом закутке между двумя заборами, выключил фары и вдавил её в сиденье властными поцелуями в губы и шею. Расстегнул куртку, рванул вверх тонкий свитер, обхватил руками грудь и намеревался уже спуститься ниже. Но Санька, привыкшая к его деликатной нежности и оглушённая сегодняшним напором, вдруг выдохнула со стоном, коротко и жалобно. Это его остановило. То, что могло произойти дальше, было равно насилию. А насилие в его планы не входило. Он с трудом взял себя в руки и, призвав на помощь весь запас выдержки, успокоил её лёгкими прикосновениями. А позже, высадив Саньку у общежития, погнал в ближайший приличный бар – ему сегодня нужна была женщина.

\* \* \*

Он медленно, но верно готовил её к предстоящей близости, сознавая, что сдерживаться ему всё труднее. Но игра стоила того, чтобы довести её до конца, не изменяя правил. Главные слова ещё не сказаны. И прозвучать им предстоит в определённый день и час, подстегнув её желание принадлежать ему. Сделать это желание безоговорочным и неодолимым должна его длительная командировка. Планировалась она давно, но сейчас пришлось как нельзя кстати.

Санька расплакалась, узнав, что Новый год и её день рождения они проведут порознь. Вадим утешал: он приедет, и они будут вместе. И вкладывал в это «вместе» весьма глубокий смысл.

Строго говоря, командировка начиналась через неделю после Нового года, но Саньке об этом знать было не обязательно. А бороться с искушением банально уложить девушку в постель под бой курантов сподручнее было за пределами города. Праздники он провёл на турбазе, смиренно пережив все прелести корпоратива, а после отправился с инспекцией по мелким типографиям, выкупленным издательством в нескольких городах региона.

За полчаса до Нового года Санька получила от него подарок. Юноша-рассылный принёс огромного игрушечного пса, белого и пушистого, и открытку с надписью: «Пусть он охраня-

ет тебя в моё отсутствие. Не скучай. С Новым годом! Вадим». Праздник в общежитии отмечали шумно, изо всех сил стараясь забыть, что началась сессия и второго января – экзамены. Санька продержалась почти час и сбежала в комнату. Там её, спящую в обнимку с игрушечным псом, и обнаружила Наташка, когда под утро вернулась с вечеринки.

Сессия шла своим чередом. Санька сдавала экзамены. Вадим звонил вечерами, спрашивал про дела, сетовал на плохую связь.

В день рождения Санька начала ждать его звонка с самого утра. Уже позвонила мама, поздравила сама, потом передала телефон по очереди Лизе, Олегу, Пете и Павлику. Уже проорали в аудитории поздравления однокурсники. Уже суежилась вокруг Наташка, предлагая в честь дня рождения завалиться в какой-нибудь клуб, благо экзамен только послезавтра. А Вадим всё не звонил.

Стоя у окна в гостиничном номере, он разглядывал маленькие аккуратные ёлочки на газоне и приземистые треугольные фонари между ними. В очередной раз перевёл взгляд на часы. Восемь без десяти. Пожалуй, пора. Пять слов. Всего пять слов, самых нужных сейчас ей, с утра (он в этом уверен) изнывающей в ожидании его звонка.

И через несколько мгновений на тумбочке у неё над ухом пиликнул телефон, и она, взвившись на постели, схватила его в руки и прочитала пять слов. Всего пять слов от него, сделавших её самой счастливой в мире: «С днём рождения. Люблю тебя».

Главное сказано, пора было возвращаться.

Санька сдала последний экзамен сессии, кивнула Наташке, которая готовилась отвечать. Подружка скорчила зверскую физиономию в сторону преподавателя, и Санька, рассмеявшись, вышла из аудитории.

Вадим стоял на первом этаже напротив гардероба под вечно общипанным фикусом и смотрел на лестницу. Санька встретилась с ним глазами, прерывисто вздохнула и медленно стала спускаться ему навстречу, чувствуя, как у неё подгибаются колени.

В общежитии в тот день она не ночевала.

\* \* \*

– Бразильский карнавал... из года в год привлекает миллионы туристов!.. В последнее десятилетие количество россиян, приезжающих... полюбоваться зажигательной самбой, значительно выросло!..

Блондинистая журналистка продолжала что-то радостно выкрикивать с экрана, но Санька уже не слушала. Где-то там, за пределами квартиры, – целый мир: люди работают, учатся, веселятся, в Бразилию ездят наконец. А она? Только и может, что смотреть на них по телевизору, да и то украдкой.

Санька почти разрешила себе разреветься, но тут хрюкнул и пополз по журнальному столику сотовый телефон, поставленный на режим вибрации.

«Вот, даже посмотреть уже не могу!» – возмутилась Санька, отключила звук телевизора и взяла телефон в руки.

– Привет. Как ты, малыш? Как Андрейка? – голос Вадима был совсем рядом.

– Всё хорошо. Спим, – Санька постаралась, чтобы прозвучало не слишком жалобно.

– Ну молодцы. В общем, я доехал нормально. Сейчас буду занят. Вечером позвоню. Всё. Целую.

– И я тебя.

Санька отложила телефон и некоторое время бездумно смотрела на экран телевизора, перебирая в уме каждое слово, сказанное мужем. Потом включила звук.

Карнавал бесновался.

Сверкающие стразами и блестящими телами танцовщицы, египетские воины, Человеки-Пауки, индийские девушки в сари, придворные музыканты в напудренных завитых париках, инопланетяне, арестанты в полосатых робах, амазонки, Бэтмены, гангстеры, пираты наплывали, оглушали, увлекали за собой в безумие искусственного веселья.

Заплакал Андрейка, и Санька, словно очнувшись, бросилась к кровати.

«Господи, ну какая Бразилия? – сердилась она уже на себя, меняя сыну подгузник. – А Вадим, а Андрейка? Не стыдно, а?»

И оправдывалась перед собой: «Ну просто Вадим уехал, а я не знаю, как без него... Я не умею без него... Он всегда рядом».

С момента их первой ночи Вадим действительно всегда был рядом, словно боялся даже на мгновение ослабить те нити, которыми он всё крепче привязывал её к себе.

События вселенской важности так стремительно сменяли друг друга, что в какой-то момент Санька перестала думать самостоятельно и только соглашалась с Вадимом по любому вопросу.

На следующее утро они подали заявление, и Вадим договорился, что их распишут через три недели.

– За три недели мы всё успеем: кольца, платье, ресторан, – говорил он, и Санька кивала.

– Сейчас заедем в общежитие, заберёшь вещи, и завтра мы уезжаем в Новозаводск. Я хочу познакомиться с будущими родственниками, – Санька опять кивала.

– Закрой окно плотнее, а то тебя продует по дороге, – и Санька послушно нащупывала рукой кнопку, не отводя от Вадима восхищённого взгляда.

За несколько дней в Новозаводске Вадим очаровал Надежду и Лизу, подружился с Петей и Павликом и даже сходил с Олегом на зимнюю рыбалку. Надежда, конечно, переживала: жених намного старше Саньки, она ещё совсем девочка. Но видя, какими глазами младшая дочь смотрит на своего Вадима, только качала головой и переглядывалась с Лизой. Та, в конце концов, не выдержала её маетного молчания и попробовала завести с сестрой разговор о том, что семейная жизнь – очень серьёзный шаг для молодой девушки, и что...

Санька даже не услышала. Все эти дни она находилась как будто в счастливом сияющем коконе, который открывался только для того, чтобы Вадим мог обнять её за плечи и одарить поцелуем.

После возвращения из Новозаводска Вадим сразу привёз её к себе.

– Никаких общежитий, – тоном, не терпящим возражений, сказал он. – Я хочу, чтобы ты была рядом. Ты нужна мне, – шептал он ей позже.

Санька и не пыталась возражать. Она вообще с трудом представляла, что сможет теперь жить вдали от него.

Наташка, согнав с насиженного места Славку Клюева, устраивалась рядом на лекциях, завистливо вздыхала и жаждала подробностей. Санька смущённо отмалчивалась. Она не понимала, как можно рассказать кому-то о том, что происходило с ней последние дни и ночи. Физическая сторона любви открылась ей неожиданно, вдруг. Как часто бывает с книжными девочками, теоретически она знала, что любовь предполагает близкие отношения между мужчиной и женщиной, но не считала их самоценными. Вадим же обрушил на неё такую лавину ощущений, что мозг переставал справляться с информацией, получаемой и уже усваиваемой телом. Санька просыпалась среди ночи и лежала с открытыми глазами. Ей необходимо было осознать, что это она, Санька, сейчас в постели с мужчиной. И что мужчина – тот самый Вадим, в которого она влюбилась и до которого ей страшно было даже дотронуться.

Она быстро забеременела, и Вадим забрал её из института.

– Сейчас главное – твоё здоровье и наш ребёнок, – сказал он, и Санька, измученная приступами тошноты, только устало прикрыла глаза.

А когда недомогание постепенно отступило, она столкнулась с новыми для себя обязанностями жены и хозяйки дома.

С домашним хозяйством у Саньки не ладилось. Привыкшая к свободному обращению с вещами (в родительском доме самым дорогим считались картины и книги), она впадала в ступор от необходимости манипулировать предметами обстановки и гардероба, стоимость которых превышала допустимые в её представлении пределы. Санька боялась нечаянно поцарапать стены, разбить чашку или ненароком прожечь дыру на рубашке Вадима. Страх делал её зажатой и неловкой, и, как следствие, стены повреждались, посуда билась, а рубашки отправлялись в мусорное ведро. Стирка и уборка, несмотря на обилие в доме бытовой техники, каждый раз превращались в тяжёлое испытание. Саньке всё время казалось, что пол недостаточно чистый, а простыни пахнут как-то не так, и что Вадим, конечно, это за-

метит. И даже если он ничего не скажет, она, Санька, понимает, что не может быть ему хорошей женой. И тогда она начинала плакать, чувствуя себя неуклюжей бестолочью.

Вечерами Вадим учил её готовить.

В другой обстановке она бы научилась быстрее. Но рядом стоял он, великолепный и недосягаемый, сияющее солнце её небосклона, и Санька обжигала пальцы, роняла на пол ложки и просыпала мимо кастрюли специи. Наконец она освоила несколько простых блюд, и Вадим стал приезжать домой обедать.

Теперь в каждое мгновение жизни – возилась ли она у плиты, прислушивалась ли к движению ребёнка в животе или смотрела принесённый Вадимом фильм – ей важно было знать, что муж спокоен, доволен, счастлив. Она вся жила в этом повороте головы на него и в подтверждении в его глазах: «Всё хорошо».

Рисовать она перестала.

\* \* \*

И всё-таки странный сегодня был день. Ещё два часа назад моросил дождь, и небо было серым и шершавым, как необработанный холст. А сейчас в окна смотрело солнце, небо поднялось и поголубело, о дожде напоминали только лужи и большие прозрачные капли, висящие на ветках.

«У меня всё хорошо», – сказала Санька, заглушая в себе неясное беспокойство, и принялась собирать сына на прогулку.

Обычно гуляли в сквере за соседним домом.

– Здесь и от дороги далеко, и детская площадка есть, – сказал Вадим Саньке, когда выбирал для них это место.

И Санька, как всегда, кивнула.

Но сегодня ей вдруг захотелось чего-то нового. И она покатила коляску по направлению к набережной. Наверное, Вадим бы не одобрил, и она даже оглянулась несколько раз, как девочка, которой папа строго-настрого запретил уходить со двора. Но воздух был свежим, солнце ярким, и Санька даже прибавила шаг.

Андрейка не капризничал, но и не спал, мирно лежал и таращился на всё, что попадалось ему на глаза из-под колясочного



козырька: небо, кончики веток, ещё раз небо, фрагменты домов. Санька шла неторопливо, смотрела на весеннюю воду, пока не ставшую прозрачной, и раздумывала о том, почему вдруг так беспокойно сделалось на душе.

И дело даже не в том, что Вадим не рядом.

Что-то зацепил в ней сегодня карнавал, что-то поднял со дна такое, о чём Санька не вспоминала уже больше года. И пока она не разберётся в этом...

– Сашка!

– Сашка, это ты?

– Привет, мамочка!

Бывшие однокурсники набежали на неё шумной беспечной волной, заобнимали, закружили, забросали вопросами:

– Твой, да? Круто!

– Мальчик или девочка?

– И сколько?

– Четыре месяца? Вау!

– Ну как ты сама в целом?

– Когда возвращаешься?

И так же схлынули, оставив возле растормошённой Саньки Наташку и Славку Клюева.

– Са-ашка! Ты просто супер! Прямо леги! – Наташка, цокая языком, рассматривала подружку со всех сторон.

– Да ладно, Наташ, скажешь тоже! – засмуцалась Санька и поспешила перевести разговор: – А вы все откуда?

– Да тут контора одна наши работы в офисе выставляет для оживления интерьера. Вот ходили, прикидывали, – встрял Славка и дернул Саньку за рукав: – А ты, правда, когда возвращаешься?

– Не знаю, – Санька неопределённо пожала плечами и заулыбалась, вглядываясь в лица друзей. – Как же я соскучилась! Ну рассказывайте, как у вас?

– Ой, всё супер! – затараторила Наташка. – Макс выиграл оформительский конкурс, летом едет в Питер. Говорит, ему повезло, что ты дома сидишь. Кстати, Сень Валерич тебя каждое занятие вспоминает.

– Да? Привет ему от меня передайте.

– Ага, передадим. А ко мне выдру одну подселили, первокурсницу, прикинь. В выходные едет в свою деревню, привозит жратвы на неделю и в крысу хомячит. Ну выдра! А Славка, дебил, штаны покрасил.

– Про штаны я и сам рассказать могу. А чё те не нравится? Прикольные штаны, – Клюев широко расставил ноги и задрал куртку, выставив наружу бледный тощий живот. Широленные штаны не падали со Славки каким-то чудом (похоже, он влезал в них, даже не расстёгивая) и были противного грязно-зелёного цвета в потёках и разводах. – В ванне красил, – похвастался он. – Ванна теперь тоже зелёная. Мать уже мозг выела: оттирай да оттирай. А я чё – знаю, чем оттирать? Краска бельгийская вроде, упаковку я выбросил. Фиг поймёшь, чё они туда намешали!

Когда Санька отсмеялась, Наташка предложила:

– Сашк, а пошли с нами в «Беседку». Макс за конкурс представляется. Они, наверно, уже заказали всё. Пошли, а? Посидим, ты хоть про себя расскажешь.

Кафе «Беседка» Саньке не нравилось из-за переизбытка пластикового плюща на стенах и хамоватых официантов, но сейчас ей страшно захотелось туда вместе со всеми. И она оглянулась, по привычке искала глазами Вадима, чтобы получить его согласие. И вспомнила, что Вадим далеко. И на мгновение растерялась.

Но тут в коляске ворохнулся Андрейка. Санька наклонилась к нему, поправила шапочку, а когда выпрямилась, увидела, что друзья всё ещё смотрят на неё, ожидая ответа. Неужели они и правда думают, что она потащит сына в душное шумное помещение?

– Нет, ребят, спасибо, конечно, но я не пойду. Нам домой пора. Андрейка скоро есть запросит.

– Ну и чё? – не сдавался Славка. – Давай вон в магазин зайдём, возьмём какое-нибудь питание детское. Ну а чё? – вскинулся он на Наташку, которая толкала его в бок локтем.

– Андрейка ещё маленький, – Санька снисходительно, как ребёнку, улыбнулась Славке. – Я его грудью кормлю.

Славка как-то сразу поскучнел, и они быстро распрощались, договорившись чаще созваниваться.

– Вот так, Андрейка! Твоя мама уже взрослая и умеет принимать правильные решения! – сказала Санька, грустно глядя вслед уходящим друзьям. И добавила: – Сама.

\* \* \*

Андрейка задремал на подходе к дому, и Санька, чтобы не тревожить сына, оставила его досыпать в коляске прямо в прихожей, осторожно расстегнув на нём уличную одежду. Потом взялась за пуговицы своего пальто, мельком взглянула на себя в зеркало и вздрогнула.

То, что она увидела в отражении, ей не понравилось. Совсем. Более того, она почти испугалась и поспешно оглянулась на синезёлтый Андрейкин комбинезон: ей вдруг показалось, что снова исчезли все цвета. Цвета были на месте. Санька облегчённо выдохнула и опять посмотрела в зеркало, теперь уже пристальнее.

И встретила взгляд совершенно чужой молодой женщины.  
«Это не я, – подумала Санька. – А где же я?»

Она медленно и настороженно оглядела незнакомку, выхватывая и узнавая отдельные детали: белое приталенное пальто с крупными чёрными пуговицами, сумасшедше дорогое (подарено Вадимом); чёрные классические брюки и тонкий чёрный свитер с горлом (одобрено Вадимом); волосы мягкими волнами ниже плеч (одобрено парикмахером Вадима). Всё вместе смотрелось красиво, правильно и безлико. Как карнавальный костюм, за которым не видно живого человека.

\* \* \*

– Безликость – вот чего должен бояться каждый художник!

Одиннадцатилетняя Санька сидела на полу возле учительской, из-за дверей которой гремел взволнованный голос отца.

Павла в художке любили и уважали. Он был почётным гостем на всех торжественных мероприятиях и никогда не отказывал в просьбе провести мастер-класс. Обычно мягкий и доброжелательный, сегодня он был раздражён и резок. Речь шла о

Санькиной выставке. И Павел был против. Категорически.

– Ваша дочь, Павел Сергеевич, лучшая ученица школы, и мы решили...

– Да поймите же, – перебил Павел завуча, – если бы вы захотели проиллюстрировать учебный план, показать разные техники и материалы, которые осваивают ваши ученики, всё было бы оправданно. Но ведь речь идёт о персональной выставке. Персональной. От слова «персона», то есть личность, индивидуальность. А вот этого в её работах нет. Пока нет. Вот когда она найдёт свою тему, обретёт своё лицо, тогда я буду обеими руками «за». А сейчас извините!..

– На тебе лежит двойная ответственность за свою жизнь, – говорил он Саньке уже по дороге домой, – как на человеке и как на художнике. Ответственность за выбор. Состоять при муже, при знаменитости, даже при родном ребёнке, или прожить свою, пусть не очень яркую, но свою жизнь? Заполнять цветом пространство в детской раскраске или найти одну, но свою собственную линию, свой собственный штрих? Понимаешь? Люди вокруг, обстоятельства будут подталкивать тебя к тому или иному пути. Но выбирать будешь ты сама. А мы хороши, – усмехнулся он вдруг, – разошлись не на шутку: они решили, я перерешил! Ты-то что думаешь, Санька?

– Буду искать, пап.

– Помощь нужна?

– Сама.

\* \* \*

«А вот теперь, папа, я бы не отказалась от твоей помощи. Столько вопросов сразу.

Например, откуда взялась вот эта черно-белая фигура? Странно, я ведь смотрела на это раньше и не видела. А что видела, если вспомнить? Вадима помню, как он кивает мне из-за плеча. Его помню, а себя – нет!

Скажи, что произошло с моей жизнью, если я даже в зеркале себя не узнаю?

И почему я поняла это только сегодня?  
Какой длинный день!  
И что теперь со всем этим делать?»

\* \* \*

Вадим как чувствовал: нынешняя командировка добром не кончится. Документы к его приезду, как оказалось, были ещё не готовы, и вскоре стало ясно, что быстро разобраться с делами не удастся.

По пути в гостиницу Вадим раздумывал, как бы помягче сообщить Саньке, что задержится. Сегодня днём она почти плакала по телефону. Он понял это, хотя она и попыталась скрыть. Он вообще хорошо чувствовал всё, что с ней происходит, мог предугадать каждую её реакцию. Он знал свою девочку.

Набирая номер домашнего телефона, он заранее ожидал и даже рассчитывал услышать её дрожащий жалобный голос. Услышать – и утешить, в очередной раз убедив и её, и себя в собственной незаменимости.

Но сначала пошли гудки. Очень много гудков. Да что они там делают?

– Привет, – радостно, даже восторженно отозвалась Санька. – А мы тут рисуем. Ну, вернее, я рисую, а Андрейка мне позировует. Слушай, у него здорово получается. Ты знаешь, что я придумала? Давай в нашей спальне – там же стены пустые – повесим его портрет. Я за эти дни, пока тебя нет, столько эскизов сделаю. А ты приедешь и выберешь. А потом можно добавлять портреты, он же растёт. Хорошая идея, правда?.. Вадим?.. Алло!.. Алло!.. Вадим, я тебя не слышу!.. Алло!..

Вадим молчал. Впервые за полтора года он не знал, что сказать в ответ.

## Во саду ли, в огороде

Николай Сергеевич Мальцев, отец Веры, мечтал о сыне. Во всём остальном человек рассудительного и трезвого ума, он, услышав от дежурной сестры роддома радостное: «Поздравляем, папаша, девочка у вас», преисполнился вдруг такой глубокой детской обиды на жену и дочь, что три дня пил за новорождённую, как пьют с горя. Жена Людмила девочке радовалась, но смотрела виновато, тем более что врачи предупредили – ребёнок останется единственным.

Дом у них был свой, в частном секторе. Во второй половине жила старшая сестра Николая Лида с сыновьями-погодками Серёжкой и Алёшкой. Неудачный муж её завербовался на севера незадолго до рождения младшего. Сначала слал деньги и редкие письма, потом и вовсе сгинул. Николаю нравилось быть главным на две семьи, заниматься домом и огородом, командовать домо-чадцами, принимать решения. И жена, и сестра, несмотря на то, что была старше на три года, подчинялись беспрекословно. Он посмеивался над ними, иногда покрикивал, особенно на огороде. Участок около дома был приличный, семь с половиной соток, две трети которых занимала картошка. На оставшейся трети плотными рядами шли грядки с морковкой, луком, чесноком, свёклой, редькой. Особенно Николай уважал зелёную редьку. Сажали её много и чуть ли не всю зиму подавали на стол, нарезанную полукруглыми тонкими ломтиками и залитую сверху подсолнечным маслом. Имелись на огороде и парники, прикрытые старыми оконными рамами, и кусты малины, смородины и крыжовника. Стояли по периметру у забора три яблони, груша, слива и два вишнёвых деревца. Но, вспоминая детство, Вера почему-то всегда видела отца именно среди картофельных рядов, в белом картузе и старых рабочих штанах на подтяжках поверх выцветшей рубахи с тёмным пятном пота по всей спине. Вот он налегает на

лопату, выворачивает ком земли вместе с полужасохшим кустом, и на свет является скрытое доселе богатство, замороженное сокровище: розовые или золотисто-жёлтые ровные картофелины.

Николай много и с удовольствием возился с племянниками, воспитывал грубовато, но основательно, по-мужски. Поставил турник во дворе, учил ездить на велосипеде. За проказы мог схватить и окунуть в бочку с водой. Пацаны хохотали, отбрыкивались, однако росли под дядькиным присмотром цепкие, рукастые и не ленивые. В двенадцать лет Серёжка записался на бокс. Николай одобрил, ходил к тренеру, а потом пристроил туда же и Алёшу.

По пятницам в доме собирались гости: бригада Николая после смены любила отпраздновать конец рабочей недели. Хозяином он слыл хлебосольным, да и дом в частном секторе – это вам не хрущёвка какая-нибудь: в хорошую погоду стол выставляли во двор и сидели на свежем воздухе дотемна. Центральным блюдом была рассыпчатая варёная картошка, непременно украшенная сверху укропом, а к ней, в зависимости от времени года, появлялись на столе и молодая редиска, и парниковые огурчики, и зимние овощные салаты, на которые Людмила была редкая мастерица. Лидия покупала самогон у Петровича, жившего через три дома, а Николай раз в месяц с зарплаты приносил пласт копчёного сала. Сало резали в блюдца и расставляли так, чтобы одно непременно оказывалось у тарелки хозяина.

Иногда компрессорщик Володька, человек суетливый, но не злой, сбегав домой и захватив заодно полненькую кудрявую жену, приносил баян. Тогда к столу подтягивались и ближайшие соседи, шли со своими табуретками и угощением, сдвигали тарелки плотнее. Запевала всегда Володькина жена. Для неё специально ставили на стол сладкое домашнее вино из вишни. Володькина жена отхлёбывала два глотка, тут же разгоралась румянцем и начинала: «Нич яка мисячна». Людмила и Лидия присаживались рядом, обнявшись, и подтягивали на голоса. Пели глубоко, слаженно. Голоса у матери и тётки были ниже и гуще, чем у Володькиной жены, но Вера ни разу не слышала, чтобы они начали петь вдвоём, сами по себе. Как будто им не хватало вот этого высокого, тонкого, ведущего голоса.

После песен, пока женщины убрали лишнюю посуду, сгрудив оставшуюся закуску на один край, начинались застольные разговоры. Володька, близко к сердцу принимавший международную ситуацию и гонку вооружений, взмахивал руками и лез к Николаю: «Нет, Сергеич, ты вот скажи мне за политику! Что ж они делают, гады, в этом НАТО?».

Василь Дмитрич, самый пожилой наладчик в бригаде, подробно излагал соседу Петровичу преимущество опарыша перед мотылём. Петрович слушал внимательно, вникал в детали, но в конце глубокомысленно изрекал, что на рыбалке хорошо бы иметь с собой и мотыля, и опарыша, потому как рыба (далее шло непечатное слово, передающее всю глубину уважения Петровичем речных и озёрных обитателей) – существо привередливое и не на каждую приманку тебе идёт.

Николай хвалился племянниками: Серёга принес с турнира серебряную медаль, тренер говорит, что возьмёт его на соревнования в Новороссийск, а Лёха – тот вообще башковитый, приёжник наладил, матери уютю починил...

– А дочка? – обязательно спрашивал кто-нибудь из гостей.

– Верка-то? А что Верка? Дочка и дочка.

Вера не доставляла родителям особых хлопот: засыпала хорошо, ела без капризов, болела нечасто, льнула к матери и тётке. Отца не то чтобы побаивалась, скорее сторонилась. И Николай редко интересовался ею, проводил свободное время с мальчишками, а всякие там платья-рюшечки – это не по его мужской части. Двоюродных братьев Вера любила. Серёжка с Алёшкой были постарше, относились к ней, глядя на Николая, насмешливо и чуть свысока, но по-своему тоже любили и в отсутствие дядьки даже баловали и звали в игры.

Лет в семь вслед за пацанами Вера вскарабкалась на турник, угнездилась на перекладине и только успела крикнуть Серёжке: «Смотри, я не держусь!», как тут же потеряла равновесие и свалилась на землю. Свалилась в целом удачно, ничего не переломав, но мелкий камешек рассек кожу над правой бровью, кровь залила лицо и закапала домашнюю кофточку. Вера больше от переживаний, что сейчас попадёт, чем от боли,



заревела и осталась сидеть там же, на земле, прислонившись спиной к турнику.

Николай, подвязывавший в саду молодые огуречные плети, рванул к дочери, ощупал её всю, схватил, бегом понёс в дом. Девочка от неожиданности даже перестала реветь, стихла, и те несколько секунд, пока отец держал её на руках, прижималась к нему, вдыхая его запах.

Мать с тёткой заохали, засуетились, братья топтались рядом и виновато сопели. Веру отмыли, переодели, приложили ко лбу чистый бинт, и Николай сам, крепко ухватив дочь за руку, повёз её в травмпункт. Молоденький врач быстро наложил швы, наклеил пластырь и, обращаясь к отцу, сказал:

– Какая хорошая у вас дочка – смелая, не капризная, прямо герой!

Николай хмуро попрощался, вывел Веру из кабинета и уже на улице, закуривая на крыльце травмпункта, хмыкнул:

– Герой, тоже мне. Девчонка! Никакой пользы.

Больших перемен после этого не случилось. Николай, вдруг устыдясь своего порыва, продолжал упорствовать в ребяческой обиде на жизнь, дочку не привечал, но теперь чаще приглядывал за ней издалека.

Летом жизнь семьи была подчинена огороду. Вера под присмотром, а потом и наравне со старшими вставала на прополку. Начинали с луковых и чесночных грядок, переходили к отцветшей клубнике, давая свет и воздух завязавшимся ягодам, чистили заросли огурцов, редьки и свёклы. А сорняки тем временем наступали на только что подвязанные помидоры и капусту, а когда и они освобождались от плена, приходила пора продирать и прореживать морковь. После фасоли, баклажанов и перцев оказывалось, что снова требуют прополки лук, чеснок и клубника. Как ни силился сорняк поразить огородников роскошью зелени или красотой цветка, цепкие проворные руки изгоняли его с грядок. Полезные растения, как бы невзначай они ни выглядели, были окружены вниманием, заботой. Их касались бережно, словно ласкали.

Мысль о собственной полезности как о единственно возможной форме существования занимала Веру всё детство. Хорошая учёба, примерное поведение, опрятный вид и аккуратность, а также страсть к ведению домашнего хозяйства под-разумевались сами собой, как будто входили в набор качеств, определяемых формулировкой «ты же девочка!», и давались при рождении со справкой о выписке из роддома. Годам к тринадцати Вера научилась со всем этим справляться, но отец оставался всё так же далёк и холоден. Стало понятно, что предполагаемая полезность лежит где-то в другой области.

\* \* \*

Елена Андреевна Корычева, заведующая отделением хирургии детской городской больницы, была яркой блондинкой пятидесяти лет, любила носить крупные серьги с бирюзой и малахитом и удачно сочетала в себе способности медика и администратора. Поговаривали, что её в ближайшем будущем ждёт повышение. Уже пятнадцать минут она слушала, как сидящая у неё в кабинете хирург Антипова, дама впечатлительная и громкоголосая, не могла успокоиться, расписывая в красках последнюю операцию:

– И смотрит на меня, и пыхтит. Я что ему – Алан Чумак? Мысли читаю? Что, сказать сложно? А я вообще при нём думать не могу. Руки вон до сих пор трясутся! А в конце операции так с издёвкой: «Спасибо, Анна Вячеславовна!». Елена Андреевна, не ставьте меня больше с ним. Не могу, столько лет терплю! Невыносимый человек! Да если бы я одна – все дух переводят, когда он не с ними выпадает по графику...

Вот задача-то... Корычева положила перед собой график дежурств, вновь и вновь перебирая фамилии коллег. Незадолго до окончания рабочего дня она вызвала Веру.

– Как вам у нас работается, Вера Николаевна?

– Хорошо.

– Как устроились в общежитии? Соседи не беспокоят? Может, есть какие-то проблемы?

– Нет, всё хорошо.

– Вера Николаевна, у меня к вам предложение. Вы толковый врач – я за вами наблюдаю, но пока ещё очень молодой. Мне бы хотелось, чтобы вы набирались опыта у лучших. Я предлагаю вам стать постоянным ассистентом Бороздина. Знаю, он человек непростой, но хирург отличный. Не спешите отказываться, подумайте.

– Я согласна.

Детская городская больница стояла на возвышенности, и человек, идущий с трамвайной остановки, на несколько минут оказывался беззащитен перед ветром, пылью, дождём, снегом, степным безжалостным солнцем – перед всем, чем могла порадовать окраина Новозаводска. В этом забеге на короткую дистанцию с препятствиями люди становились похожи на кривоватые карагачи, редко рассаженные на пыльных газонах вокруг здания больницы. Дорога к избавлению от боли, и к самой боли, и к работе с ней через препятствие виделась Вере естественным проявлением жизни в городе, куда она попала по распределению. Да и жизни вообще.

Узнав, что Веру прикрепили к Бороздину, коллеги испытали двойственное чувство: с одной стороны, девочку жалко, а с другой – свои нервы целее будут, жизнь-то не балует. Бороздин был в городе, как это обычно звучит на языке обывателя, легендой, звездой, врачом от Бога, местным гением, кудесником, и прочая, и прочая, и прочая. В больнице за глаза его звали не иначе как Упырём. Геннадию Алексеевичу шел пятый десяток. Был он не просто угрюм и молчалив, а невыносимо угрюм и молчалив, взгляд имел холодный и тяжёлый, небрежности в работе не терпел, с коллегами общался исключительно по делу, на совещаниях сидел в углу и смотрел в пол. «К старости, говорят, у людей характер портится, а тут куда ещё? Тупик эволюции», – шутили в ординаторской. У младшего медперсонала Бороздин вызывал прямо-таки мистический ужас. Немолодая, всегда замученная медсестра Васильчикова жаловалась:

– Уж лучше бы ругался! Двух вещей в жизни не выношу – его взгляда и стука дверцы холодильника. Пацаны только пожрали – и снова. А в холодильнике кубики бульонные да лёд

в морозилке. Они хлоп-хлоп каждые полчаса. На работу придёшь – тут этот, смотрит и молчит. Жить не хочется!

Жить не хотелось всей стране, вернее хотелось, но не так. Зарплату задерживали месяцами, людей не хватало. Участковый врач Бубенцова, которую бросили сразу на несколько участков, упала в обморок в поликлинике прямо во время приёма. Коллеги диагностировали недоедание и нервное истощение. Лор-врач Кудрик однажды не вышла на работу, потому что, прихватив необъятных размеров клетчатые сумки, уехала в свой первый челночный рейс за польским трикотажем. Бывшая акушерка Таньшина торговала в коммерческом киоске и видела, как прошлой зимой налетела на пожилого уже терапевта Первушина из трестовской больницы малолетняя банда, сорвала шапку и, толкнув старика в обледенелый сугроб, скрылась в темени переулка. Оперативки начинались с обсуждения новостей, больше напоминавших сводки военных действий.

А Геннадий Алексеевич тем временем оперировал. Вёл пациентов, назначал плановые операции, оставался дежурить на праздники. И оперировал, оперировал виртуозно. Вера старалась быть полезной. Она не ждала одобрения. Годы детства и отрочества научили её честно выполнять любую работу и не требовать оценки окружающих. Более того, наслышанная о нелёгком характере Бороздина, она была готова к его тяжёлым взглядам и молчанию, они её не трогали. Первые же операции, проведённые Упырём в её присутствии, вызвали сильное и глубокое ощущение правильности происходящего, что у обычного человека равно состоянию восторга. Вера будто попадала с ним в единый ритм, в единое пространство, где мысль становилась осязаемой и не нуждалась в лишних словах.

Жила она в общежитии медицинских работников, которое в городе считалось самым благополучным и благоустроенным, приятельствовала с соседями – рыжим веснушчатым фельдшером Белопольским, его женой Галочкой и Женечкой Литвак, медсестрой первой городской больницы. Жили в одном отсеке и, если совпадали дежурства, собирались на кухне к вечернему чаю. Верины морковные оладушки неизменно вызывали в сосе-

дах бурное ликование. Быт не досаждал, да и много ли, в сущности, надо одному человеку? Постперестроечная лихорадка, терзавшая страну, как будто не задевала её. Работа в больнице, оправдывая её существование, принесла, наконец-то, душевное равновесие. Но больше всего Вера наслаждалась одиночеством. Это было её первое самостоятельное жилище, без родителей и шумных соседей по институтской общаге. Вечером, закрыв дверь комнаты, она окружала себя коконом тишины и собственноручно созданного уюта. На окне висели оранжевые шторы, на полке стояли медицинские справочники и библиотечные книжки, напротив дивана, на журнальном столике, купленном ещё на первом курсе, жил трескучий красный будильник. В корзинке лежала светлая пряжа, один бок которой Вера окунула в йод. Теперь на спицах выростала пёстренькая кофточка с большим воротом. Вязать научила тётка, однако Вера пристрастилась к этому занятию совсем недавно, уже в Новозаводске. За вязанием хорошо думалось.

Думала Вера о Бороздине. Работали они на удивление слаженно, как будто знали друг друга много лет, за операционным столом обменивались взглядами. Иногда Геннадий Алексеевич, как бы сомневаясь, поднимал голову на Веру, и она кивала: ему не нужны были советы, он учил, натаскивал, она схватывала. Глаза у него были тёмно-серые.

На оперативках они теперь садились рядом, оба молчаливые, внешне отстранённые, но Вера, настроенная, как чувствительный прибор, на своего наставника, замечала каждую его реакцию на происходящее. Бороздина бесила человеческая глупость, необязательность и равнодушие. По взглядам, дыханию, редким словам, по напряжению, которое проявлялось в его лице и руках, она распознавала, какое неистовство вскипает у него внутри. Годы тайных наблюдений за отцом многому научили её. Она легко читала Бороздина, знала, когда он доволен тем, как прошла операция, а когда беспокоится. С ходу могла сказать, нездоровится ему или он устал настолько, что почти теряет сознание. Удивительнее всего было Вере, что окружающие совсем не видели или не хотели видеть то тончайшее мастерство, которым он владел.

Работал он на износ, почти без выходных. Никто этому не препятствовал. Все искали возможность подработать – семьи надо было кормить. Вера знала, что у Бороздина есть жена и сын, студент-медик, но представить Геннадия Алексеевича в домашней обстановке могла с трудом. Да и не верилось, что могут быть в его жизни тапочки, халат, телевизор, разговоры о котлетах, ремонте и прочих мелочах. В мыслях Веры Бороздин принадлежал работе и больнице.

Ну и ей.

Очень быстро в глазах окружающих они превратились в единую команду. Теперь многие вопросы коллеги предпочитали решать через Веру, говорили, что у неё к Упырю есть подход. Был ли он на самом деле, этот подход, Вера не знала, да и не очень понимала, что под этим подразумевается. Просто они разговаривали – спокойно, обстоятельно, по делу. Вместе готовились, вместе оперировали, вместе пили чай после. На ночных дежурствах, сидя в ординаторской по разные стороны дивана, вместе молчали. Молчание не тяготило, скорее, объединяло.

Их тандем хвалили на оперативках и ставили в пример, к праздникам обещали премию. В апреле, проходя мимо кабинета заведующей, Вера услышала негодующий голос Антиповой:

– ...Ушлая девица, ты посмотри. Конечно, работать с гением! Не удивлюсь, если она с ним...

Вера помотала головой, чтобы не слышать продолжения, и юркнула в ординаторскую. Уши горели. Геннадий Алексеевич стоял у раскрытого окна и смотрел на оживающую степь. Снег сошёл, через жухлую прошлогоднюю траву уже видна была новая зелень. Он обернулся на звук открывающейся двери. Вера вошла, остановилась у порога. Бороздин спросил взглядом: «Что?». «Ничего», – так же молча ответила Вера. Она вдруг охватила глазами его всего, высокого, чуть сутулого, с опущенными плечами, полуседы́м ёжиком, тёплыми глазами, крупными руками с короткими круглыми ногтями. Как странно: она видела всё это и раньше, но никогда не смотрела вот так.

«Как «так»?» – спросила себя Вера тем же вечером, расположившись на диване с вязанием. Шум проезжавших на улице машин

становился всё реже, за стеной у Белопольских привычно надрылась «Санта-Барбара», будильник отмерял секунды. Вывязав ряд до середины, он замерла со спицами в руках. Сегодняшний день не отпускал её. Сначала слова Антиповой, а потом... Потом она посмотрела на Бороздина, как... Ну давай, давай, признайся уже себе: как на мужчину... И он ей нравится, очень нравится... Вера вскочила с дивана и убежала из комнаты. Обычно в это время на кухне ещё кто-нибудь возился, и сама собой завязывалась ни к чему не обязывающая болтовня. Но сегодня, как назло, было пусто. Вера включила чайник, машинально вымыла чьи-то оставленные в раковине две глубокие тарелки, поколдовала над заваркой, добавив в обычный чёрный чай смеси душицы, чебреца и сушёных ягод земляники из Женечкиной жестяной банки. Много мелких ненужных действий, чтобы отодвинуть миг признания.

Цинизм ситуации заключался в том, что, прекрасно зная устройство тела и его функции, врач Вера Николаевна Мальцева была чудовищно наивна и неопытна в такой области, которую в обиходе именуют как «отношения». Любовь, чувство высокое, книжное, в её сознании сопоставимо было разве что с островом Пасхи. Многочисленные свидетельства побывавших там, фотографии, описания и даже документальный фильм Сенкевича в программе «Клуба путешественников» не давали ни малейшего повода думать, что такого острова не существует. Но яркие краски океана и неба, как в цветном телевизоре, с которого наконец-то вытерли пыль, вольготно размахнувшиеся ввысь и вширь пальмы, белые птицы самолётов с туристами всех мастей, суровые и отрешённые лица идолов были невообразимо далеки от блёклых больничных стен, карточек с историями болезней, хмурых, раздражённых людей в трамвае, опасных, без единого фонаря, вечерних улиц и неистребимого общежитского запаха подгоревших макарон.

И, тем не менее, следовало признать, а Вера всегда доверяла своему здравому смыслу, что сегодняшние мысли о Бороздине были для неё неожиданно волнующими, приятно волнующими. И это было нехорошо и хорошо одновременно. Хорошая, правильная девочка Вера не могла, не должна была испытывать никаких чувств, кроме уважения, восхищения и благодарности,

к своему коллеге, учителю и наставнику, к тому же, человеку женатому, чужому мужу. Это было ужасно, некрасиво, стыдно. Но слепым ещё, беспомощным, неразвитым женским инстинктом она почему-то знала, что имеет право думать о нём. О, только думать, ничего больше! Это вдруг оказалось таким нужным и большим – думать о нём, полюбить его, самой, не ожидая ответа, согласно, сразу принимая невозможность этого ответа.

В тот вечер Вера долго не засыпала, и всё сидела на диване с остывшим уже чаем в кружке, и принимала свою новую жизнь с глубоко сидящей внутри неправильной любовью, и смущалась, и радовалась, радовалась этой новой жизни.

\* \* \*

Она уехала так неожиданно, что Бороздин растерялся. Он вспомнил мимолётный разговор об отпуске, но это случилось недели три назад, и тогда разговор был необязательным, и задумываться не стоило. А вчера она вдруг попрощалась до сентября. И он, ошеломлённый неожиданным своим сиротством, пожал руку и отпустил молча, только кивнув, потому что слова, вечные его недруги, снова встали комом у губ.

Сегодняшнее дежурство прошло ужасно: жара, духота, дура Антипова в ассистентках, невозможная какая-то усталость во всем теле. Веры не хватало, ему физически не хватало Веры. За несколько месяцев совместной работы Геннадий Алексеевич так свыкся с её присутствием, что убедил себя: Вера – его, и она будет всегда. И теперь, сидя за столом и всматриваясь в заполненные её правильным, чуть кругловатым почерком бумаги, он решительно не понимал, как будет без неё работать и как дожить до сентября. Он перебрал несколько карточек, вглядываясь в буквы. «К» она писала по-своему, присоединяя к вертикальной палочке букву «с» с козырьком. Это был привет от неё, знак её присутствия здесь, в его жизни.

Чёрт-те что происходило с ним в последние месяцы, какая-то оголтелая, стариковская, как он начал это называть про себя, сентиментальность. Взять хотя бы подснежники. Однажды в апре-



ле, стоя у окна ординаторской и глядя на степь, задышавшую после зимы вольно, словно больной, выздоравливающий от воспаления лёгких, Бороздин вдруг подумал, что среди прошлогоднего ковыля наверняка уже можно найти небольшие стебли с белыми полураскрытыми цветами. И как удивится Вера, увидев букет подснежников, торопливо втиснутый в поллитровую стеклянную банку. И как промолчит в обычной своей манере, но кинет на него вопросительный взгляд, и как Бороздин ответно кивнёт ей и чуть разведёт руками. Было в этой фантазии что-то лихое, мальчишечье, давно ему не свойственное, отголосок детской радости, как от кислых соседских яблок, сорванных у сердитого соседа, который рванулся за пацанвой с крапивой, да так и не догнал.

За подснежниками он тогда не выбрался, но радость не ушла, продолжая тихо звенеть внутри. Не хотелось анализировать, доискиваясь причины этой радости, не хотелось объяснять себе вновь утвердившийся порядок – приходя на работу, встречать взгляд своей ученицы и помощницы: спокойный, серьёзный, наполненный уверенностью в его врачебном даре. Теперь ему иногда стало казаться, что в глазах её мелькает что-то ещё, какое-то только ему предназначенное тепло, как будто она своим невероятным чутьём проникла в его замыслы о подснежниках и теперь улыбается «стариковским чудачествам». «Нет ничего такого», – убеждал он сам себя и снова тайком искал на её лице подтверждения собственным догадкам.

Последние два месяца Геннадий Алексеевич всё чаще сам ассистировал Вере, наблюдая за точными движениями её пальцев и выхватывая в работе перенятые у него приёмы. Вера оперировала хорошо, даже вдохновенно, быстро добирая в мастерстве, уже не советуясь глазами, а как будто время от времени просто удостоверяясь в его присутствии рядом. Под его прищуром она вырастала в большого врача.

Вечерами Бороздин разбирал свой архив: наблюдения, накопившиеся за двадцать лет работы, сделанные торопливой рукой, с сокращениями, на вырванных из старых школьных тетрадей сына затрёпанных листках с неровными, прочерченными синей ручкой полями. У него вдруг проснулось желание делить-

ся, рассказывать, вспоминать случаи из практики, иногда страшные, иногда курьёзные, отдавать ей всё, чем была наполнена его жизнь прежде. Он завёл папку с тесёмками, надписал красной ручкой «Материалы Бороздина Г.А. для Мальцевой В.Н.», так безыскусно соединяя себя и Веру ещё и на этом сером шершавом картоне, и всё не решался отдать, каждый раз то добавляя листки, то сортируя их в новой последовательности.

По традиции в середине мая на Новозаводск вероломно напала жара, собираясь держать его в сорокоградусной оккупации до сентября. К больнице теперь нужно было пробираться по плавящемуся на солнце асфальту сквозь пыльные бури, щедро насылаемые на город степным ветром. Начались летние отпуска, менялся график дежурств. Бороздин ревниво просматривал расписание, не позволяя заведующей разъединить их с Верой даже на время. Корушева посмеивалась, но соглашалась.

Пятнадцатого июня на оперативку все сошлись, оглушённые новостями о теракте в ставропольской больнице. Вера, живущая без телевизора, слушала прерывистую речь заведующей отделением, у которой в Будённовске оказалась однокурсница, цепенела и вжималась в стул, вновь погружаясь в состояние тихого отчаяния, которое овладело ею, да и всей семьёй, когда Серёжка попал в Афганистан. Бороздин, взглянув на неё и увидев побелевшее лицо, накрыл рукой её руку и до конца оперативки согревал ладонью ледяные пальцы, смущаясь собственной смелости и одновременно наполняясь ощущением правильности и нужности этого соприкосновения. Кровь у обоих запульсировала в едином ритме, постепенно возвращая чувство покоя. Они вместе, нужно жить и работать дальше. Как всегда.

Никакого разговора потом не случилось. Ну, может, чуть дольше стали взгляды. А в остальном... Каждый хранил про себя свою тайну, оберегая другого.

Город задыхался, как распластанная на солнцепёке лягушка. Вера жару переносила легко. Бороздин же чувствовал, как давит, придавливает его к земле равнодушное степное солнце, как всё больше сил тратит он на то, чтобы просто добраться до больницы.

Несколько раз прихватывало сердце. Геннадий Алексеевич подносил руку к груди, но, поймав встревоженный Верин взгляд, тут же её отдёргивал. Это были досадные помехи, привычный сволочизм жизни, разбивающий его радость на гомеопатические дозы.

Вера, захваченная невозможной своей любовью, пыталась удержать тающие до отъезда домой дни, запоминая, впечатывая в память каждую интонацию, каждую мимолётную улыбку, каждый взгляд такого родного ей теперь человека. И останавливала себя, и опускала глаза, и сбегала из ординаторской под надуманными предложениями. Внешне, конечно, уходила спокойно, но внутри себя знала, что сбегала, чтобы не выдать, не проговориться, не коснуться, не...

И вчерашнее прощание вышло простым и быстрым: молча кивнули, потянулись для рукопожатия, соединились ладонями и взглядами.

И расстались.

\* \* \*

До родного Савельевска Вера добиралась нечасто, а последние три года не была совсем. Сначала интернаттура, потом – Новозаводск. Мать писала ей длинные письма, в основном о погоде и овощных заготовках. В конце спохватывалась и торопливо начинала перечислять семейные новости: отец здоров, Лида всё болеет, почти не встаёт, Серёжка со Светой ждут второго. Вера отвечала аккуратно, страницы на полторы: учится, работает, ест вовремя. Пару раз писал Серёжка, присылал фотографии дочерей. От Алёшки из Рязани приходили редкие открытки по праздникам с несколькими поздравительными словами и обязательной смешной рожицей вместо точки. От отца писем не было.

Так повелось с самого её отъезда из дома после школы. В профессию она шла сознательно, в очередной раз сообразуясь с детскими представлениями о необходимости собственной пользы. Но Николай, кажется, даже не заметил ни выпускного дочери, ни её поступления в медицинский. И Вера не смела его в этом винить: все мысли семьи тогда занимал Серёжка, ушедший

в армию после техникума в разгар афганской войны. Алёшка к тому времени уже год учился в Рязанском радиотехническом. Лидия, с трудом отпустившая в другой город младшего, а теперь пребывавшая в вечном страхе за старшего, вдруг превратилась в старуху – тихую, больную, тяжело ступающую. Она каждый день писала сыну письма на войну и медленно несла их на почту через три улицы. И только это поддерживало в ней силы несколько страшных месяцев. Когда же пришло от Серёжки сообщение – уже из госпиталя, она слегла окончательно и больше не выходила со двора, с трудом иногда выбираясь из дома, чтобы посидеть на воздухе. Николай соорудил для неё навес у стены. Лидию усаживали в старое кресло, и она оставалась в нём часами, изредка оглядывая грядки близорукими глазами и тихо засыпая. Николай, не позволявший себе перед домочадцами обнаружить сжиравшую его изнутри тревогу, с остервенением бросался на любую работу в огороде: копал, сажал, полыл, окучивал до изнеможения, до кровавых мозолей и сорванной спины. Банки с урожаем того страшного года ещё долго пылились потом в подполе.

Серёжка вернулся домой следующим летом после контузии, с посечёнными осколками ногами, худой, бледный, дёрганный, на вопросы почти не отвечал, смотрел тоскливо. Первая же рюмка водки, выставленной на стол в честь возвращения, довела его до истерики: он вдруг зашёлся в рыданиях, смахнул со стола посуду. Николай уложил племянника в постель и потом ещё полночи сидел у его кровати, растерянно глядя перед собой. Серёжка с трудом входил в мирную колею, жаловался на головные боли, часто уставал. Николай устроил его на работу в соседний цех, но через три месяца завод выставили на торги, и новые хозяева с энтузиазмом принялись за сокращения. Пока в огороде оставались дела, Николаю удавалось ещё расшевелить Серёжку, но к зиме парень окончательно впал в уныние – много спал, слонялся по дому.

К Новому году срочной телеграммой вызвали домой Алёшку. Вера тоже приехала на два дня, захватив с собой в поезд кипу конспектов и жутко нервничая перед первой в жизни сессией. Алёшка за два года самостоятельной студенческой жизни расцвёл, перерос старшего брата на голову и в силу сложивших-

ся обстоятельств как-то вдруг перехватил у него инициативу, встряхнул, растормошил всю семью, втянул в предновогодние хлопоты, потащил Серёжку по магазинам за продуктами и на ёлочный базар за живой ёлкой. Веру, выбежавшую встречать его по приезду, Алёшка повертел во все стороны и восхищённо присвистнул:

– Ну ничего себе! Красавица-то какая стала!

И все два дня, суматошные, нарочито шумные и радостные оттого, что семья наконец-то в сборе, выскивал её за ёлочной мишурой, шампанским, салатами, картошкой, беготнёй на кухню и свечением бенгальских огней и не уставал повторять: «Красавица!», не обращая внимания на сумрачные, недовольные взгляды Николая.

Вера смущалась, но не очень верила. И старалась держаться в тени. Она, как и отец, считала, что центром внимания должен быть Серёжка. Живой. Главное – живой!

До Савельевска оставалось ещё полтора часа пути. Поезд вздрагивал на ходу, как больная собака, и подолгу застывал на каждом полустанке. Вера сдала постель проводнице, взяла чай и села у окна, сделав вид, что не замечает призывных взглядов соседки напротив, которой не терпелось продолжить разговор о недавно родившихся внуках-близнецах. За окном проплывала унылая августовская зелень лесопосадок. Впрочем, Вера почти не замечала пейзажей, с головой уйдя в воспоминания. Ей вдруг подумалось, что после того Нового года восьмилетней давности она ни разу не видела всю семью вместе. И тут же захотелось домой, на кухню, на любимый стул в углу под часами, с которого так удобно было наблюдать за матерью и тёткой, когда они в чёткие руки, слаженно, как в песне на голоса, нарезали перцы, баклажаны, помидоры, лук, сбрасывая потом нарезанное в большие эмалированные чашки-тазики до появления разноцветной овощной горки. А это священнодействие у плиты, когда паром стерилизовались банки, стеклянными пузырями выросшие на специальной подставке над кастрюлей! А упоительный запах укуса по всему дому! Их овощные заготовки были украшением любого праздничного стола. А жена компрессорщика Володь-

ки, помнится, каждый раз говорила, что за зимний салат «Тёщин язык» ей и свой язык отдать не жалко. И мать, сгоняв Веру или кого из мальчишек в погреб, перед уходом гостей совала Володьке в руки небольшую баночку с салатом, а Володькина жена охала и кидалась обниматься с хозяевами.

Год работы, проведённый рядом с Бороздиным, как будто заслонил от Веры прежнюю жизнь, и теперь надо было постепенно всё вспомнить и в этом новом своём, взрослом, осенённом любовью состоянии вернуться к детской роли человека второсортного и малополезного. Но странно: думать об отце и о том, чтобы снова доказывать ему что-то, совсем не хотелось. Вместо этого Вере вдруг очень захотелось понять, что же разглядел в ней когда-то, в тот новогодний приезд, Алёшка. Она даже попыталась поймать своё отражение в окне, продолжая размышлять. А как видит её Геннадий Алексеевич, считает ли он её красивой? Или смотрит просто как на коллегу по работе? А она и есть коллега по работе, и ничего больше. Ничего больше?

– Савельевск через пятнадцать минут! – известила проводница.

На перроне Веру с сумками подхватил Серёжка, обнял, поцеловал в висок. Вера прижалась к нему и долго не отпускала, как всегда делала с момента его возвращения с войны. Живой! От брата пахло домом и покоем. Он слегка поправился, вид имел солидный и ухоженный, что выдавало в нём счастливо женатого человека.

От здания вокзала Вера повернула было к автобусной остановке, но Серёжка окликнул её и, разулыбавшись, подвел к белой «девятке».

– Твоя? – восхитилась Вера.

– Моя, три месяца как взял! Завезу тебя домой – и на работу!

– Серёжка, какой же ты молодец!

– Это Светка у меня молодец! Она настоящая.

Светка, жена Серёжки, была его выигрышным билетом, главным жизненным везением, лучом света, судьбой, сокровищем, благословением божьим. Да как ни назови, всё было про неё. Яркая крупная брюнетка, самоотверженная и деятельная, она училась с Серёжкой в одном классе и всю старшую школу

вздыхала по нему не то чтобы тайно, но как-то не сложилось у них тогда. А вот после армии она подхватила его, падающего, уходящего в тёмную воду болезненного отчуждения, и вцепилась хватко, и рванула, и потащила к свету и радости. И выпестовала, выходила, возродила.

Светка переехала к ним в дом ещё до свадьбы, разругавшись насмерть с собственной семьёй.

– Дура, куда? К калеке? Он контуженный, у него с головой не в порядке! Мать лежачая! Служить им всю жизнь хочешь, судно выносить? Для этого мы тебя растили, учили? – кричала на неё мать, стоя у дверей и глядя, как дочь бросает вещи в дорожную сумку.

– Мама, ты не понимаешь.

– Да где уж мне понять такую великую любовь!

– Великую – не великую, а Серёжу я никому не отдам.

– Кому он нужен?!

– Мне нужен, мне!

– Ох, помяни моё слово, намучаешься, надорвёшься, приползёшь ещё к родителям на порог!

Светка не приползла. Они расписались без особых торжеств, посидели за столом с Серёжкиными «стариками» и тремя друзьями и зажили – непросто, но на удивление и даже на зависть знакомым и соседям дружно, чем дальше, тем больше становясь парой, которая в сознании людей воспринимается как нечто незыблемое, только как Сережа со Светой, только вместе и никак иначе. Жизненной силой Светка была наделена через край и, не скупясь, тратила её на новую семью, быстро приноровившись и обхаживать больную свекровь, и помогать Людмиле по хозяйству. На мужа молодая жена глядела с таким откровенным обожанием, что окружающие начинали стыдливо отводить глаза, как будто нечаянно подсмотрели что-то очень сокровенное, не предназначенное для посторонних. И Серёжка, поначалу даже не влюблённый, а скорее поддавшийся её страстному напору, наполняясь её силой, вжимаясь ночами в её большое горячее тело, прирос, прикипел к жене так истоиво, что сам себе порой удивлялся. С работой в городе было туго, но, заразившийся уже неистребимым

Светкиным жизнелюбием, он брался за любое подвернувшееся дело, побыв за два года и разнорабочим на стройке, и приёмщиком цветных металлов, и охранником на стоянке. Однажды, гуляя по улице с коляской, в которой спала новорождённая дочь Машуня, он встретил армейского товарища Изотова. Тот, узнав, что Серёжка – электрик по образованию, неожиданно возрадовался и предложил работать на него в фирме по ремонту электрооборудования. Платил Изотов неплохо и, главное, стабильно. Через три года родили Дашуню.

– Девчачье царство! – ворчал Николай. Он один в семье не поддавался Светкиному обаянию.

Лидия в невестке души не чаяла и тихонько плакала, когда никто не видел, не в силах по-другому справиться с радостью за старшего сына. Людмила, с благодарностью передавая жене племянника часть хозяйственных забот, после рождения Машуни и Дашуни выплеснула на них всю тоску по уехавшей дочери и по нерождённым своим детям и погрузилась в сладостные хлопоты бабушки, дождавшей первых внуков. С антресолей были извлечены узлы с пелёнками, распашонками, чепчиками, вязаными кофточками и комбинезончиками, оставшимися ещё от Веры. Вспоминая молодость, Людмила теперь всё чаще корила себя за то, что была к дочери чересчур строга, что, опасаясь перечить мужу, недодала ей ласки. А ведь какая девочка росла: умная, добрая, покладистая. А девушкой какой красивой стала! А они её всё поскромнее одевали, только бы отцу лишний раз глаза не мозолила. Эх, кабы вернуть да всё заново!

Когда жена, даже не обернувшись на Николая, со всем пылом нерастраченного в молодости материнства рванулась сердцем к внукам, он вдруг понял, что остался в меньшинстве. Весь домашний уклад, выстроенный им за долгие годы, рушился на глазах. Конечно, ни он своими неуклюжими разговорами, ни Алёшка с наездами домой раз в год не смогли бы сделать того, что сотворила Светка с Серёжкой. Но ведь она попутно, без особых усилий, забрала в ловкие молодые руки семейные бразды правления, и Николай не мог ей этого простить. Сначала сами собой закончились пятничные застолья. Светка надевала



суровое лицо: Серёже пить нельзя, и нечего, нечего человека растравлять! Потом на турнике появились цветные верёвочные качели, а часть огорода, суверенная территория Николая, была отведена под детскую площадку с песочницей и старой ванной, которую в жаркие летние дни использовали как бассейн сначала для маленькой Машуни, а потом и для Дашуни. Наливали воды на две ладони и давали ей прогреться на солнце. Дети тащили из дома резиновых зверушек и плескались в ванне часами, пока родители возились на грядках, изредка поглядывая на торчащие над бортиками головёнки в белых панамках.

– Ещё и цветы! Развела тут розарий! – не унимался Николай.

Цветник, ещё больше потеснив грядки, Светка разбила возле дома, недалеко от детской площадки и навеса, под которым сажали Лидию.

– Света говорит, дети должны расти в красоте! – замечал Серёжка на дядькино ворчание.

Он теперь половину разговоров начинал со слов «Света говорит...». И Николай снова недовольно хмыкал.

Девочки росли смышлёнными, подвижными, окружёнными безоговорочной любовью родителей и бабушек. Обожали отца, слушались мать, сумрачного деда совсем не боялись, относясь к нему, как к привычному элементу пейзажа.

Когда Машуне исполнилось шесть, Светка привезла в дом пианино и записала дочь в подготовительный класс музыкальной школы. И уже почти год вся семья в едином порыве умиления слушала, как Машуня ковыряет инструмент, извлекая из него беспорядочные мяукающие звуки. Николай морщился и, чуть стаял снег, начал сбегать на огород, всеми силами изображая необходимость бурной деятельности на участке.

\* \* \*

Дома Веру встретили шумно: мать рыдала, девочки скакали вокруг. Светка потащила её распаковываться. Они с самого начала друг другу нравились, и отношения переросли бы в близкую дружбу, будь Вера рядом.

– Вечером поболтаем, – пообещала Светка. – Уложу мар-тышек, и почаёвничаем. Что-то мне кажется, тебе есть о чём рассказать.

– Поболтаем, – согласилась Вера, смутившись, отверну-лась к сумкам и стала доставать подарки.

Николай вернулся с работы к ужину. Вера сидела на кухне на любимом стуле под часами, держала на коленях Дашуню, от-вечала на её бесконечные вопросы и с удовольствием наблюда-ла за суетой.

– Сегодня ты – почётная гостья! Сиди, отдыхай с дороги, мы сами всё сделаем, – сказала Светка.

И Вера отдыхала, вглядываясь в изменившиеся за три года родные лица. Она слышала, как пришёл отец, как зашлёпал в ванную, переобувшись в домашние тапочки, как долго и тща-тельно умывался, но не вышла к нему в прихожую, что раньше делала всегда, а продолжала сидеть на стуле.

Николай заглянул на кухню сам:

– Ну, приехала?

– Приехала.

– Надолго?

– На три недели, – Вера смотрела на отца спокойно, с улыб-кой.

С какой-то общей улыбкой, не для него, для всех, для мира – отметил для себя Николай, замялся и, больше ничего не сказав, ушёл с кухни. А Вера с удивлением обнаружила, что при-вычное равнодушие отца совсем её не тронуло.

После ужина она всё-таки ввязалась в домашние хлопоты: посадила мать за кухонный стол, отобрала полотенце и начала вытирать посуду, лихо перемытую Светкой. Опережая расспросы, стала рассказывать о Новозаводске, общежитии, больнице. Мать слушала, смотрела виновато и всё порыва-лась зарыдать, утирая набегающие слёзы уголком фартука. Про Бороздина Вера упомянула вскользь, но Людмила, как всякая женщина, ухватила из рассказа главное и, конечно, переспросила:

– И что, этот хирург твой женат?

– Женат, мам. Да и не в этом дело. Геннадий Алексеевич – мой наставник, коллега. И всё!

Вера протестовала слишком горячо, осознавая, как это глупо звучит, догадываясь, что мать тоже всё видит и понимает. Но говорить о Бороздине было приятно даже в такой дурацкой ситуации. Ей хотелось говорить о нём, хотелось произносить его имя.

Светка заглянула ближе к двенадцати:

– Не спишь?

– Нет.

– Всё, угомонились. Чай будешь?

– Нет, после такого ужина три дня можно не есть.

– Это правда. Теть Люда готовит божественно. Хорошо дома?

– Хорошо.

Они ещё какое-то время болтали о девчонках, Серёжке, состоянии Лидии и новой машине, а Вера всё ждала от Светки главного вопроса и маялась, не решаясь начать разговор сама. И Светка, наконец, рассмеявшись, сказала:

– Ну давай, рассказывай. Извелась, смотрю, вся. Кто он?

– Упырь.

Вера и не подозревала в себе такого запаса слов. Светке можно было выговорить, выплеснуть и смущение, и восторг, и нежность, и произнести вслух страшное, сладкое слово «люблю». Просидели до четырёх утра, пока Светка не начала терять нить разговора, на несколько секунд засыпая, просыпаясь, встряхивая головой и переспрашивая у Веры последние сказанные ею слова. Пришлось расходиться, но Вере не спалось. Она пробралась на кухню, не включая свет и по памяти обходя скрипучие половицы, выпила холодной воды и остановилась у окна. Ночь медленно таяла. Темнота уже не казалось такой необоримой, как два часа назад, слабей, тускней и уступая место рассвету.

«Хорошо. Как хорошо», – подумала Вера. Она вновь перебрала в голове разговор и даже заново проговорила про себя некоторые фразы, не отпуская образ Бороздина, позволяя себе думать о нём свободно, без стеснения, без постоянного страха перед ним и окружающими обнаружить свою любовь. Здесь, вдалеке от Новозаводска, стоя босыми ногами на кухне родного

дома, она вдруг почувствовала себя совершенно счастливой, просто так, и разрешила, наконец, себе это счастье. Хотя бы на время. И очнулась от кухонного забытья, только когда куст малины напротив окна, высвобождаясь от сумерек, из тёмно-серого вновь стал зелёным, а на яблоне застрекотали проснувшиеся сороки.

Все три недели Николай пристально наблюдал за дочерью. С самого первого дня, когда по приезде она не вышла встречать его с работы, а только кивнула ему на кухне, взрослая, красивая, чужая, он почувствовал что-то вроде беспокойства, лёгкую досаду, в которой никак не хотел признаваться даже себе. А Вера вдруг оказалась всем нужна. Она осмотрела Лидию и взялась за те дни, пока дома, проколоть тётке курс витаминов, с матерью и Светкой несколько раз навевывалась на городской рынок за новыми кофточками, юбками и чем-то таким, что женщины потом примеряли за плотно закрытыми дверьми и появлялись оттуда страшно довольными. Девочки, кажется, вообще не слезали с неё, вовлекая в бесконечные прятки, догонялки и ежевечерние игры в больницу в большой комнате, по которой в качестве пациентов для доктора Веры раскладывались и рассаживались все имеющиеся в доме куклы, мишки и зайцы, а также приведённые за руку родители и бабушка Люда. В особенно жаркие вечера Серёжка сажал жену с дочками на заднее сидение, сестру – впереди, рядом с собой, и белая «девятка» стремительно укатывала в сторону городского пляжа. Возвращались весёлые, довольные, с влажными растрёпанными головами, привозя то арбуз, то подтаявшее мороженое в вафельных стаканчиках. Однажды заявили три Верины школьные подружки, о существовании которых отец даже не догадывался, и просидели до ночи, вспоминая детство и перебирая одноклассников. Николай возился за домом, прислушиваясь к долетавшим до него обрывкам разговора, ловил смех дочери и, сам не замечая, всё ближе и ближе подбирался к её раскрытому окну. По выходным он заставал Веру на огороде. И за что бы она ни бралась – пропалывала ли грядки с фасолью, собирала помидоры или помогала брату срезать пожелтевшую картофельную ботву, – всё получалось у неё ловко и легко, как будто жила в ней недоступная его глазам радость.

За неделю до её отъезда Николай вернулся с работы с головной болью и не смог заставить себя выйти из дому даже ради капусты и помидоров, которые срочно нужно было полить. Прилёг на кровати, а когда Людмила позвала ужинать, отказался, не открывая глаз. Пришла Вера, посмотрела, метнулась в комнату Лидии за тонометром, быстро набросала на листке названия лекарств и услала Серёжку в аптеку. После укола Николаю полегчало. Он продолжал лежать, слушая, как Вера негромко спрашивает и инструктирует мать, брата и его жену по поводу отцовского давления и приёма таблеток, и по здоровью Лидии, и по детским простудам, раз уж зашёл такой семейный разговор. Она ещё пару раз заглядывала к Николаю за вечер, и потом, ему сквозь сон вроде бы почудилось, приходила ночью.

Несмотря на это происшествие, он чувствовал, что дочь была где-то далеко, не с ним, разбираясь с его приступом, как с обычным случаем из своей практики. Невидимая, но прочная нить её постоянного к нему внимания вдруг ослабла. Исчезла где-то там, в недостижимом для него мире её детская им одержимость, растворилось в небытии её желание сделать всё, чтобы заслужить его одобрение. С горечью, свойственной людям, подошедшим к порогу старости, Николай подсчитывал потери: живущий вдалеке от дома Алёшка, слушающий и слышащий только жену старший племянник, с головой ушедшая во внучек жена, вероломно захваченный снохой огород. И вот теперь Вера, последняя опора его семейного могущества.

Ощущение проигрыша при полном внешнем благополучии.

Вера уезжала в субботу вечером. С утра она упаковывала сумки, чувствуя, как нарастает в душе нетерпеливое ожидание встречи с человеком, занимавшим все её мысли. Даже об отце она думала сейчас через призму своей любви к Бороздину. Геннадий Алексеевич раскрыл ей глаза на то, что любить можно самой. И стало легко, и получилось отпустить свою вечную обиду на отца за невнимание и нелюбовь, и просто быть рядом, смотреть, как он поправляет грядки, как заходит в дом, аккуратно вешая на крючок белый картуз, как сидит перед телевизором, положив на подлокотники кресла коричневые от загара узлова-

тые руки. Слышать, как он проснётся утром раньше всех, в половине шестого, поставит чайник и будет целый час на кухне шелестеть газетой. Наблюдать, как ровно в десять вечера уйдёт в спальню, чтобы перед сном прочитать несколько страниц любимшегося в последнее время Гончарова. Знать об отце каждую мелочь, чувствовать его лучше всех в семье и любить издали, ничего не ожидая в ответ. И потому впервые Вера покидала дом без тоскливого сожаления о несбывшемся, но торопила минуты и придумывала себе всё новые и новые заботы, чтобы скоротать время до отъезда. И затеяла лепить пельмени, усадив с собой Машуню и даже Дашуню, которым доверили обмакивать в муку кусочки теста и которых пришлось отмывать потом от муки и от теста чуть ли не с головы до пят.

За весёлыми хлопотами наступил вечер. Серёжка затащил в машину сумки и стоял у дверцы на изготовке, терпеливо ожидая, когда сестру перецелуют все домочадцы. Николай сразу после ужина ушёл за дом и, казалось, прощаться не собирался. Вера ещё раз напоследок обняла и поцеловала мать, шагнула за калитку к машине и вдруг услышала за спиной:

– Доча!

Слово для отца было неудобное, не ложилось на язык. Николай поперхнулся, прокашлялся и сипло повторил, протягивая Вере три больших жёлтых с розовым бочком яблока:

– Доча, я тут вот тебе на дорожку.

## Десятое мая, или Песнь кулика о счастье

К большому городу с многовековой историей просто испытывать сильные чувства. Можно любить или ненавидеть Москву и Питер, можно мечтать поселиться в них или, демонстративно закатывая глаза, произносить: «Да чтобы я жила там?! Никогда! Только Париж!».

Что же касается Новотроицка, маленького, провинциального, далёкого от центров и морей, весьма молодого и потому ещё очень скромного в своих проявлениях города, можно прожить жизнь, не догадываясь о его существовании.

Откуда же возникает эта болезненная привязанность и нежность к месту, прочно утвердившемуся в сознании как «мой город»?

Десятого мая мы с сыном Федькой, одуревшие от целого дня ничегонеделания, выходим на улицу в девять вечера. Нет никакой определённой цели, мы просто проветриваемся.

Уже стемнело, и небо ярко-синее, как детская иллюстрация к гоголевской ночи, чуть светлее на западе и темнее на востоке. Горят фонари. В их свете молодые листья на тополях кажутся покрытыми лаком. Людей на улице почти нет. Город старательно отгулял праздники и теперь, словно прилежная ученица, с вечера собирает свою жизнь в будничный портфель. Неторопливо проезжают редкие машины. Стучит по рельсам пустой трамвай.

Федька вырывает руку и бежит вперёд, дикими прыжками изображая всех Черепашек-ниндзя сразу. Его невидимые враги, не выдержав натиска, валятся по обе стороны тротуара, и Федька скачет дальше. Он счастлив.

Я смотрю на него и, как обычно, раздумываю о многом одновременно. О том, что за зиму Федькины джинсы стали ко-

ротки и нужно покупать новые. И о том, что ему сейчас это совершенно не важно. И о том, что он счастлив просто так, без объяснения причин. И о том, что я всё реже бываю счастлива просто так. И чтобы почувствовать себя счастливой, должна для начала напомнить себе об этом и объяснить, почему я имею право так себя чувствовать, и почему... Да к черту объяснения!

Я иду с ребёнком по городу, который ощущаю и знаю своим до каждой малой трещины в асфальте. Я здороваюсь с листьями и похлопываю по бокам дома. Я смотрю, как развеваются на балконах полосатые банные полотенца, словно флаги, вывешенные на центральной улице города. А знакомая дворняга тычет холодный шершавый нос в опущенную мною ладонь. И ещё я знаю, что скоро нам надоест гулять, и мы с Федькой вернёмся к дому. И над нашим ясенем будут светить три окна, за которыми нас любят и ждут.

И если это не счастье, тогда я ничего не знаю о счастье!

Можно рваться в Москву и Питер, а ночами мечтать о Париже. Но нельзя не любить место, где ты счастлив, даже если это провинциальный Новотроицк, маленький город в степи.



# Содержание

Никчёма.....	5
Ночь, утро, вечер.....	20
Вернусь – поговорим .....	33
Карнавал.....	47
Во саду ли, в огороде.....	93
Десятое мая, или Песнь кулика о счастье.....	118

**Оксана Владимировна Васильева**  
**Песнь кулика о счастье**

Рецензент Виталий Молчанов  
Редактор Вячеслав Моисеев  
Вёрстка – Денис Безлюднев  
Корректор Людмила Моисеева  
Рисунок на обложке – Ирина Скокова

Допечатная подготовка:  
**Издательский центр МВГ,**  
e-mail: wgmoses@mail.ru,  
тел. (3532) 55-41-99.

Подписано в печать 10.12.2017 г.  
Отпечатано с готового оригинал-макета  
в ООО Универсальная Типография «Альфа Принт»:  
620049, Свердловская область, г. Екатеринбург,  
переулок Автоматики, дом № 2ж.  
Тираж 200 экз. Заказ № \_\_\_\_.



## **Оксана Владимировна ВАСИЛЬЕВА**

родилась 27 октября 1975 года в Новотроицке Оренбургской области. Окончила филологический факультет Орского государственного педагогического института имени Т.Г. Шевченко. Работает педагогом дополнительного образования при Центре развития творчества детей и юношества города Новотроицка, руководит Клубом авторской песни «Васильевский остров». Инициатор и организатор Межрегионального детско-юношеского фестиваля авторской песни и поэзии «Васильевка». Лауреат фестивалей авторской песни в Орске, Кувандыке, Уфе, Тюмени, Перми, Волгодонске, Кемерово, Переславле-Залесском. Лауреат Всероссийского Ильменского фестиваля авторской песни и дипломант Всероссийского фестиваля авторской песни имени Валерия Грушина в поэтической номинации.

Публиковалась в местной и областной периодической печати, в литературных альманахах «Вечерние огни» (Новотроицк), «Гостиный двор» (Оренбург), участник коллективного сборника молодых поэтов Оренбургской области «Красный угол». В августе 2008 года совместно со Светланой Смагиной выпустила сборник «Стихотерапия». Автор сценария детского мюзикла «Только вместе».

Замужем, растит сына.

